

84Р6

ПЗ0

БОРИС ПЕТРОВ

**ВОСКРЕСНЫЙ
НАРЯД**

БОРИС ПЕТРОВ

ВОСКРЕСНЫЙ НАРЯД



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
АЛМА-АТА — 1970**

Петров, Б. Н.

П 30 Воскресный наряд. (Роман.)
«Жазушы», 1970.

Алма-Ата,

200 с. 50 000 экз. 52 к.

V

Новый роман известного по четырем предыдущим книгам писателя-фронтовика Бориса Петрова «Воскресный наряд» посвящен героинке Великой Отечественной войны.

Главный герой, сержант Андрей Трубин, направляется в военное училище. С субботы на воскресенье он последний раз назначен в караул (отсюда название книги «Воскресный наряд»). И здесь, на боевом посту у склада с боеприпасами, его и застает война. Территория склада превращается в маленькую крепость, клочок советской земли, за который не щадя жизни борются наши воины.

Первые схватки с врагом, испытание характеров в жестокой неравной борьбе, подвиги — таково содержание книги.

7—3—2

154—70

Р 2

что вместе они сочиняли рапорты, вместе мечтали о политруковских звездах на рукавах. Но Васе отказали в приеме, а ему, Трубину, прислали вызов для сдачи вступительных экзаменов. Он не сомневался в том, что их выдержит.

Андрей заранее знал, что ответит ему приятель, если он поделится с ним своими чувствами.

«Ты брось,— скажет он,— хочешь утешить. А я уже успокоился. Отказали и ладно. На училище свет клином не сошелся».— И махнет своей большущей ручищей. У него это манера выражать свое несогласие. Отмахнется и уйдет, как бы подчеркивая бесполезность дальнейших объяснений.

Вася — человек железных убеждений, несмотря на мягкость своего характера. С ним Андрей с первых дней службы. Как угодили рядом на койки в запасном полку, еще в гражданской одежде, с торбами, в которых хранились остатки домашних харчей, так до сих пор вместе. Поэтому и успел убедиться: доказывать Васе что-либо, с чем он не согласен,— бесполезно. Он может изменить мнение, но не вдруг, а когда дойдет до истины своим умом.

Андрею по-настоящему жаль друга, тоскливо от мысли, что расстанутся они надолго, а быть может, и навсегда. Столько времени спали рядом, здесь, в дальнем углу казармы, возле окна, столько переговаривали, перемечтали, лежа ночью с открытыми глазами и разговаривая шепотом, чтобы не услышал дежурный. Вместе перебирали свое, не ахти какое большое, прошлое, строили планы на будущее. И вот койку его займет кто-то другой. Он представлял, как будет хмуро сводить белесые брови Вася, глядя на нового соседа, пока не привыкнет, а привыкает он долго, Андрей это знал.

Андрей чувствовал себя виноватым перед товарищем потому, что ему повезло, а тому — нет, хотя и понимал, что от него тут совершенно ничего не зависело.

Мысли о друге, о предстоящем отъезде отвлекали Андрея от писем, которым он решил посвятить целиком предвечерние часы. Предстояло написать их не меньше пяти. В первую очередь домой, отдельно сестренке, десятикласснице Лине, ее подруге Верочке Бутенко, с которой у него вот уже с год ведется товарищеская, по крайней мере с его стороны, переписка. Он отвечал на ее длинные, порой наивные, письма не менее длинными своими с искренним желанием поделиться жизненным опытом, что-то подсказать. Да и просто приятно было получить из

Но только успел записать, мысленно подбирая следующую строфу, как по казарме, покрывая шум, разнесся басовитый голос дневального:

— Старшего сержанта Трубина к старшине!

Подготовка к наряду для старшины самое деятельное время, тут он требует к себе то одного, то другого. Зачем ему понадобился Трубин? К наряду он отношения не имеет. Да и что для него теперь старшина вообще?

Андрей махнул рукой: «Допишу, приду. Не пожар там». Но привычка к дисциплине оказалась сильнее. Подавив досаду, спрятал в карман записную книжку, сунул в тумбочку начатое письмо и встал. Рослый, по-юношески тонкий в талии, он привычно одернул гимнастерку, пальцами пробежал по пуговицам на воротнике, слегка коснулся ладонью короткой прически, глянул на сапоги: в порядке ли? К старшине неряхой не заявишься. Хотя и без пяти минут курсант, старшина на это не посмотрит, встанет и скомандует: «Кругом». С него станется.

У старшины в каптерке сидел старший сержант Якутов — кладовщик вещевого склада. Одетый в отлично подогнанную диагональную комсоставскую гимнастерку и такие же бриджи с алыми прожилками канта, Якутов выглядел щеголем. Сам старшина Барабанов был хотя и в будничной форме, но, как всегда, чистый, аккуратный. Сидя на корточках, он доставал из железного ящика патроны и складывал их на разостланную мешковину — готовил для выдачи наряду. Он вслух считал тускло поблескивающие, лоснившиеся смазкой обоймы и с ухмылкой слушал Якутова, слышшего ловеласом и любившего в узком кругу прихвастнуть успехами в сердечных делах. Старшина мог одновременно заниматься двумя-тремя делами, и из-за этой его особенности нередко горели новички. Полагая, что старшина отвлекся и не замечает, они пробовали что-нибудь делать по-своему, не так, как он требовал. Возмездие наступало тут же, в виде безобидного на первый взгляд и даже дружеского замечания.

— Так, так, значит, сам себе хозяин? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Молодец. — И вдруг резкий переход, повергавший новичка в совершенное замешательство: — Выполнять, что приказано! Ясно?

И после этого наивное предположение, что от старшины

можно что-то скрыть, как ветром выдувало у парня из головы.

Трудно было представить двух людей, более непохожих друг на друга, чем эти: смуглый, смахивающий на цыгана, длинный, как жердь, Якутов и маленький, с виду почти подросток, белобрысый старшина Барабанов. И в поведении: Якутов — сдержанный до медлительности, не улыбающийся, знающий себе цену, а старшина, наоборот, — подвижный, как ртуть, непоседливый, вездесущий, громкоголосый.

Положение у них тоже разное. Якутов дослуживал действительную и осенью собирался домой; Барабанов — сержанчик и подал — о чем в караульном взводе знали все — рапорт об оставлении его в армии на второй срок. И еще одно: старший сержант в своей должности завскладом наверняка винтовку в руках не держал, старшина же Барабанов участвовал в боях на Халхин-Голе, был ранен, и на гимнастерке у него, над левым кармашком, на кумачевой розетке поблескивал багровой эмалью орден Красной Звезды, награда, какая во всей части была у трех-четырех человек.

И тем не менее, несмотря на все эти несоответствия, они дружили. Один Якутов мог сколько угодно сидеть у старшины в каптерке, где тот хранил взводное имущество и где стояла его идеально заправленная койка, и даже курить здесь. Остальных Барабанов выпроваживал немедленно. Спросит, что надо, и кругом марш, ни минуты задержки. Одному Якутову прощал старшина пустую болтовню. От всех других требовал в разговоре деловитости, краткости и точности. Любил повторять: «Для военного многословие вредно».

Видно, даже и разговору с кладовщиком Барабанов не отдавал всего себя целиком. Слушая, продолжал отсчитывать патроны. Среагировал он тут же и на появление Трубина.

— А, поэт? Проходи... Восемнадцать, девятнадцать... Собрался? Небось, уже на колесах? Вагон покачивает. Голова на подушке. Напротив — молодая попутчица. Красота... Двадцать, двадцать один... Укатишь и назад не оглянешься. Конечно, доволен? — говорил он, доставая из ящика обоймы и складывая их в кучки по четыре штуки.

Андрей покосился на спокойно дымившего папиросой Якутова, которого откровенно не переносил. Старший сержант был из числа тех младших командиров, писарей, кладовщиков и прочих нестроевых, которые в каждой части

— А для нашего подразделения?

— Соревнование по волейболу.

Андрей спокойно отвечал старшине, зная, что тут не только его привычка лишний раз, даже в мелочах, проверить подчиненного, но и то, что старшина обычно так подходит к главному.

— Значит, в курсе дел,— продолжал с оттенком удовлетворения Барабанов.— А то, что противник серьезный и от результатов игры зависит честь взвода и всей части,— тоже знаешь?

— Представляю.

— И желал бы помочь своему подразделению, несмотря на то, что в одной руке уже чемодан?

— Безусловно. Только каким образом?— в свою очередь не удержался от вопроса Андрей, уже начиная досадовать на столь длинное предисловие.

— Так вот, товарищ Трубин! — старшина вдруг круто свернул на официальный тон и подобрался, приняв положение «смирно». — Собирайтесь в наряд! Вы назначаетесь в караул вместо сержанта Аветисяна. Причина: Аветисян включен в состав команды, для замены заболевшего красноармейца Воронина. Вопросы?.. Между прочим, это просьба лейтенанта Култаева. Учти.

Нет, не зря старшина набирал разбег. В наряд на воскресенье. И это в то время, когда он, Трубин, мысленно уже оторвался от всего, что связывало его с частью. Он даже требование на железнодорожный литер успел получить с утра, и теперь оно лежало в кармане.

Андрей стоял растерянный. Первой мыслью его было отказаться. Тем более что, как сказал старшина, это просьба командира взвода. Просьба, а не приказ. Значит, ни его усмотрение. Лейтенант Култаев понимает — не очень то удобно назначать в наряд человека, почти вышедшего из подразделения.

Старшина хитро подъехал. Не пойдешь в наряд — не хватит игрока, и всей команде минус. Да и при Якутове объясняться... Вон с каким видом наблюдает за ним завскладом. Помалкивает, покуривает, а на лице ухмылка. Думает небось: «Попался, курсант, поглядим, как ты станешь выкручиваться». Нет, он такого удовольствия не дожидается!

Андрей подтянулся, вскинул ладонь к пилотке, четко произнес:

— Есть заступить в наряд!

Через полчаса личный состав караула был во дворе, при полной боевой выкладке: винтовки со штыками в положении «к ноге», скатки, противогазы.

Перед строем прохаживался старшина Барабанов. Маленький, быстрый, он придирчиво, с выражением особой какой-то торжественности на лице, оглядывал, ощупывал глазами каждого. Старшина любил развод караула и по ходу его весь преображался. Пришуренные серые с рыжиной глаза его из-под козырька фуражки, слегка сдвинутой к бровям, цепко выхватывали малейшие отклонения от требований устава во внешнем виде караульных. Слышались его короткие замечания:

«Подворотничок пришит косо». «Сапоги вычищены для себя, а надо и для других» (это значит — задники грязные). «Застегните подсумок: не за грибами...»

— Ефрейтор, — это дневальному, который вышел на крылечко глянуть на развод, а заодно и покурить, — бросьте папиросу и марш на свое место! Поправьте ремень.

Сам он имел неукоснительное право делать замечания. Форма на нем всегда была в идеальном порядке, хромовые сапоги надраены до зеркального блеска, шею туго облегал ослепительной белизны и абсолютной симметрии подворотничок. Эмалевые зубчики «старшинской пилы» на петлицах один к одному, ровнехонько — не придерешься. Розетка под орденом разглажена, как будто только что приколотая, и сам орден в косых лучах солнца, успевшего склониться к вершинам тополей, окружавших военный городок, выглядит новеньким.

Идя рядом со старшиной, Андрей Трубин невольно оглядывал себя: все ли у него на месте, достаточно ли туго заправлена гимнастерка, не вылезли ли из сапог брюки. Если есть в форме непорядок, то так прямо ему об этом старшина не скажет, чтобы не подрывать командирского авторитета перед подчиненными, но обязательно найдет такой же непорядок в форме у кого-нибудь другого и будет о нем говорить до тех пор, пока не поймешь, что говорит для тебя. Да еще потом наедине сделает внушение.

Впрочем, оглядывал и проверял себя Андрей в этот раз больше по привычке. Слова старшины уже как-то не доходили до него. Ему-то что? Еще день, один наряд, и все

останется для него воспоминанием. А вспоминать о чем будет.

Не забыть Андрею здесь ничего. Он окинул взглядом двор городка.

Часть выбыла в летние лагеря (на месте остался лишь караульный взвод), и квадратный, довольно обширный, запорошенный пухом цветущих тополей двор выглядел непривычно большим и пустынным. Двухэтажное бревенчатое здание главной казармы необитаемо. На широком крылечке никого. По скамейкам курилки, вокруг врытой в землю бочки с водой прыгают безбоязненно воробьи. Нет шумных курильщиков, в кругу которых обычно раздавались то взрывы веселого хохота, то закипал спор. Помещение столовой тоже пусто: не мелькает в высоких окнах белый колпак хлебореза, не стучат мисками дежурные по кухне. Вещевой склад Якутова — и тот на замке.

Андрей не удержался, глянул на примостившийся в дальнем углу двора домик санчасти, на окна, наглухо задернутые белыми занавесками, и в груди у него что-то защемило, и опять вернулась грусть, которая одолевала, когда он писал письма. «Прощай все, прощай!» — мысленно расставался он с большим плацем, где утоптанная до твердости асфальта подошвами солдатских сапог земля хранит следы и его ног, и этими старинными казармами, где прожит целый год. Легко ли, тяжело ли, но прожит.

Но что обо всем этом думать? Сейчас развод караула, и посторонних мыслей быть не должно. Обо всем можно поразмыслить потом, в карауле: в распоряжении целые сутки. Он обязательно должен «добить» письма и закончить стихотворение.

Андрей принял сосредоточенный вид, поправил оттягивавшую ремень кобур с пистолетом и так же, как старшина, стал внимательно оглядывать строй. Из его отделения здесь были всего двое: веснушчатый, застенчивый красноармеец Тимошенко и Ташаубаев — казах, накануне вернувшийся из кратковременного отпуска из дому. По-степному острыми были глаза недавнего чабана Касыма Ташаубаева. На очередной проверочной стрельбе, из положения лежа, спокойно послал он все пять пуль точно в центр мишени. За это и за отличное несение службы присутствовавший здесь командир дивизии сразу дал ему отпуск на десять суток, не считая дороги. Остальные караульные были из отделения сержанта Аветисяна.

Правофланговым в строю стоял разводящий ефрейтор

Асхат Кучкильдин, сухопарый, остролиций татарин, очень аккуратный в службе, но до того замкнутый и молчаливый, что даже старшина Барабанов, ставивший его нередко в пример другим за старательность, порой удивлялся и советовал самым серьезным образом:

— Кучкильдин, у тебя с языком в порядке? Ты давай, знаешь, иногда тренируй его, для пользы дела.

Рядом с разводящим — красноармеец Тугаринов. Он на полголовы выше Кучкильдина и раза в два шире в плечах. У него все массивно: голова, плечи, ноги, сапоги сорок четвертого размера. Ладонь, придерживающая винтовку, как лопата. И лицо подстать фигуре: широкое, налитое здоровьем. А глаза подпухшие и всегда как заспанные. С виду — увалень, но на самом деле лучший в своем колхозе плотник и лесоруб, Тугаринов теперь отлично владеет приемами штыкового боя, умело, со сметкой окапывается и точно по цели бросает гранату. А вот с дисциплиной у парня неладно. «Из-за него, — заявляет Барабанов, — весь взвод на одну ногу хромает».

Признаться, Андрей недолюбливает этого здоровяка и сейчас недоволен тем, что Тугаринов попал с ним в наряд. По мнению Трубина, недисциплинированность Тугаринова сводит на нет все его хорошие качества. И, кажется, неприязнь эта у них взаимная. Тугаринова совсем недавно за очередное опоздание из увольнения в город судили товарищеским судом. Трубин, как председатель суда, держался с ним подчеркнуто официально и теперь улавливал в его сонливом взгляде скрытое недружелюбие. У Тугаринова подвернулась на плече лямка противогаза, — сделать бы замечание, но Андрей мысленно махнул рукой: старшина сам заметит, и перевел взгляд на следующего караульного.

Не случайно их взвод называли «интернациональным». Следующий в строю — Экштейн, из приволжских немцев. Он, как и Андрей, — студент пединститута, призванный в армию во время финской войны, только не историк, а географ, хороший парень, добряк, покладистый и улыбчивый. Как многие немцы, букву «д» он выговаривает глуховато, как «т». У него получается: «тута» вместо «туда», «пато» вместо «надо». Имя он носит знаменательное — Христофор. Но по имени его почти не называют. Как-то он сам перевел свою фамилию. Экштейн — краеугольный камень. И это к нему так и прилипло. Сначала говорили полностью: Краеугольный камень. Затем просто Камень и наконец совсем шутливо — Камешек.

Даже старшина Барабанов, противник всякой фамильярности, поддавшись общей привычке, частенько обращался:

«Камешек, или как там? Подойдите ко мне!»

И Экштейн несколько не обижался.

Рядом с Экштейном — красноармеец Адамович, признанный всеми балагур. Даже и сейчас в строю у него такое выражение, точно он вот-вот отпустит очередную шутку. Большие, чуть навывкате глаза его посмеиваются, губы искривлены, будто с трудом сдерживают готовые сорваться с них веселые слова. Адамович следит за старшиной, и тот, умеющий все замечать, ловит его взгляд, прикиривает, однако не очень строго:

— Красноармеец Адамович, стоять как положено. Не в курилке находитесь!

Несмотря на его вечное балагурство и коротящую старшину хитринку, Адамович ему явно по душе. Умеет он потрафить печальству, когда своей выправкой, когда умением особенно четко припечатать шаг. Внеочередное увольнение Адамовича из части, как правило, являлось результатом его строевого мастерства. Не совсем безупречный расчет дисциплины, Адамович умел использовать «слабшки» старшины. Тягло сердце сверхсрочника-служаки при виде ремня, затянутого на Адамовиче до последней дырочки, безупречно посаженной над левой бровью пилотки, руки, скинутой под прямым углом к головному убору, и особенно от искренней веселости бойца. Если старшина в чем ему и отклонялся, то Адамович не падал духом, а так же четко козырял, улыбался и отходил строевым шагом. Даже такую вольность, как гимнастерку не по форме, прощал Адамовичу старшина Барабанов. Сколько раз грозился отобрать у него серого цвета танкистскую гимнастерку и такие же брюки, но не отбирал, соглашался с его доводами. А тот на доводы не скупился. Он ссылался на какой-то «особый приказ», который якобы разрешал танкистам носить свою форму, где бы они ни находились.

Долго ли он служил в танкистах и почему оказался в пехотно-строевой части — никто толком не знал. Но сам Адамович твердил:

Я здесь до особого распоряжения. Отзовут, вот увидите. Прислали показать, как надо нести службу.

Трудно было понять, кем он был до армии. По его словам выходило: в одном случае — слесарем, в другом — шофером. Но скорее всего — продавцом, потому что об этом

он чаще всего говорил. Чувствовалось, много привирает и здесь, но было ясно — с профессией продавца он знаком.

Адамович и в караул надел свое танкистское обмундирование, уже изрядно поношенное, но неизменно чистое и старательно отутюженное. Подворотничок сиял белизной не меньше, чем у старшины, а складки на гимнастерке под ремнем были, пожалуй, еще ровнее.

Плечом к плечу с Адамовичем в строю стоял высокий сутулый красноармеец в пенсне по фамилии Феоктистов.

Для старшины Барабанова, да и для командира отделения сержанта Аветисяна, был этот красноармеец сущим наказанием. Слишком штатским по своему существу был он, чтобы принять близко к сердцу и постичь военное дело. Феоктистов не увиливал от службы, не совершал проступков. По-своему он даже старался в выполнении несложных солдатских обязанностей. Но выходило все как-то не так. На физподготовке он обязательно падал с бума, на стрельбище палил либо в белый свет, либо в чужие мишени. А на первомайском параде по команде: «Равнение направо», к ужасу командира взвода, повернул голову в противоположную сторону.

Старшина, намучившись с Феоктистовым, уже давно махнул на него рукой: пусть, все равно толку из него не будет. Но тут была не безнадежность. При всей своей нетерпимости к плохой выправке и всякой человеческой неловкости, Барабанов уважал Феоктистова, потому что он единственный во всем взводе имел высшее образование и до призыва в армию преподавал историю в средней школе. И старшина, не любивший выделять кого-либо своим вниманием, для него делал исключение. И иногда в свободную минуту подзывал к себе, просил дружески:

— Расскажи-ка, что интересного вычитал. Все книги одолел или еще остались какие?

— Остались,— подтверждал Феоктистов поспешно, как мог, подтягивался перед старшиной и обязательно допускал какой-нибудь непорядок в своей заправке: то расстегнувшуюся пуговицу, то съехавшую набок пряжку ремня.

Читал Феоктистов, пользуясь малейшей возможностью. При этом так увлекался, что забывал обо всем. Адамович над ним подшучивал.

— Феоктистов, ты купил папиросы «Казахстанские»? Говорят, плохие?

— Да, да,— кивал тот, не отрываясь от книги.

— Так ты лучше отдай их мне, чем выбрасывать.

— Пожалуйста, пожалуйста,— соглашался Феоктистов и, не отрываясь от книги, протягивал папиросы. Потом, когда его наконец отрывали и нужно было курить, он спохватывался, начинал шарить по карманам и смущенно спрашивал того же Адамовича, не заметил ли он, куда подевались у него папиросы.

Была у Феоктистова и еще одна страсть, о которой также все знали,— писать письма. Перед армией он женился, ждал сына и почти ежедневно отправлял домой, за Урал, солдатские треугольники, свернутые из тетрадной бумаги. Вот и сегодня, перед тем как встать в строй, Феоктистов успел сбежать к главной казарме, у входа в которую был прибит почтовый ящик. И не забыл прихватить в караул объемистый том, втиснул его в сумку с противогазом.

Трубин одного за другим оглядывал караульных, и уже знакомое чувство неловкости опять кольнуло в сердце: «Я-то уезжаю учиться, а они нет. Буду отлеживаться в вагоне, расхаживать по московским улицам и площадям, набираться впечатлений, потом займусь учебой, а им придется, как вчера, как сегодня заступать в караул, точно вот так же стоять в строю и выполнять заученный наизубок ритуал развода».

Мысленно Андрей похвалил себя за то, что не отказался пойти в наряд, не упустил возможности напоследок побыть вместе со всеми в карауле. И мысли снова увели его от строя. Интересно, где будут эти его сослуживцы по караульному взводу через два года, когда он окончит училище и вернется сюда, а вернуться он постарается именно сюда. Большинство из них, разумеется, отслужит. Кое-кого не будет здесь уже нынешней осенью. Кончится срок службы у Тугаринова, у Кучкильдина. Вот Василия Тимошенко он может застать, если ему присвоят звание младшего командира: он ведь еще и года не прослужил. А раньше всех уедет, пожалуй, красноармеец Пряхин, что стоит в строю с левого фланга. Кажется, по этой причине он и переведен к ним из пулеметной роты, перед самым уходом в лагерь.

Пряхин в представлении Андрея почти старик: ему что-то около тридцати. Взят он из запаса на финскую войну, там был ранен в ногу кукушкой-щуцкоровцем. Рана у него хотя и зажила, но он чуть прихрамывает. Перед тем как попасть в караульный взвод, лежал в санчасти. Там и успел отпустить усы, делавшие его похожим на Чапаева.

Пряхин — единственный член партии в караульном взводе, не считая лейтенанта Култаева, участвовавший в боях. За все это Андрей уважает красноармейца, хотя с ним почти не знаком. Знает только, что по профессии он механизатор, работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Пристрастие его к технике проявляется и здесь. В карауле, днем, в свободное от поста время, он обязательно возится с механизмами, — то с мотопомпой, то помогает ладить машину какому-нибудь шоферу.

Пожарник караульного взвода младший сержант Клевакин тоже уедет. Он ждет не дожидается, когда вернется в родной лесхоз, сядет за свой бухгалтерский стол и начнет щелкать костяшками счет, с недоверчивой подозрительностью оглядывая каждого входящего. С этой иронической подозрительностью и настороженностью смотрит он и на своих товарищей по взводу. Андрей за все время почти и не видел на его чуть тронутом оспой лице иного выражения, кроме этой недоверчиво хмурой ухмылки. Он так толком и не мог определить, что за человек Клевакин. Он словно был чем-то постоянно недоволен, на всех ворчал и всех предостерегал. Одно время койки их в казарме стояли рядом, и Клевакин измучил его советами.

— Ты, смотри, Трубин, — шептал он из-под одеяла, — не больно-то хороводься с Коржовым: у него брат осужденный. Знаешь?

— А что тут такого? Брат за брата не отвечает.

— Так-то так... А все же... Тебе в училище поступать. И не в какое-нибудь, в военно-политическое...

Или, если Андрей высказывал свои суждения по какому-либо вопросу:

— Смотри, Трубин, поосторожней: шибко не верь каждому. Нет еще пока такого рентгена, чтобы в человека заглядывать, узнавать, что у него на душе, какой дебет, какой кредит.

Андрей слушал его, слушал и не вытерпел — перебрался на другую кровать.

Когда Андрею обменяли сапоги, Клевакин прокомментировал это таким образом:

— Стишками заработал. Неплохо. Гляди только, не насочиняй лишнего.

За угрюмой назойливостью, придирками Клевакина Трубин чувствовал явную зависть. Бухгалтер завидовал его выправке, крепко сложенной фигуре, каждому его успеху по службе, тому, что Андрей учился в институте, а

теперь едет в военное училище. Не он, Клевакин, а именно Андрей.

Вот и сейчас судьба снова обошла его, Клевакина. Трубин командует, а он тянется перед ним в строю.

Всем своим видом Клевакин старался подчеркнуть, что хотя и участвует в разводе, но не очень-то зависит от начальника караула.

Андрей в своем грустно-благодарном настроении не замечал этого. Сейчас даже этот не очень приятный сержант-пожарник был для него частью того товарищеского привычного коллектива, который стал ему таким дорогим и близким и с которым так грустно расставаться.

Старшина наконец закончил осмотр наряда: одного из красноармейцев послал укрепить пуговицу на гимнастерке, второго — перешить подворотничок и «сделать так, чтобы сапоги были начищены и для других». Не ускользнула от его всевидящего ока и книга, вопреки всяким правилам засунутая Феоктистовым в противогазную сумку:

— Это еще что такое? Красноармеец Феоктистов, противогаз для тебя — вещевого мешок? Вынуть, и чтобы не было подобных фокусов. Ясно?

Барабанов, чуть привстав на носки, оглядел в последний раз строй, казалось, даже сожалел, что теперь уже все в порядке и нет больше причин для замечаний. Осталось провести инструктаж: проверку обязанностей караульных.

— Красноармеец Тимошенко, повторите обязанности часового на посту.

— Часовой обязан охранять и стойко оборонять свой пост. Не отвлекаться, стоять бодро, як полагается...

— Вблизи объекта появилось постороннее лицо. Что будете делать?

— Остановлю криком: «Стой, кто идет!» Ще вызову карпача або разводящего. Ось так...

— Без лишних слов. Красноармеец Адамович, на посту пожар. Действия часового?

— Принять меры к тушению. Вызвать начальника караула, — с подчеркнутой серьезностью отчеканил тот, глядя в упор на старшину.

— Ну вот что, товарищи, — старшина глянул на наручные часы. — Задача одна. Чтобы все было на уровне. Помните, наряд ваш сегодня не обычный. А какой? Красноармеец Тугаринов!

— Так сказано же, не обычный.

— А смысл?

— Выходной день.

— Правильно. Кому выходной, а нам наоборот. Возле объекта могут появляться всякие посторонние и прочее. Это значит, необходимо усиление бдительности. И вообще, помнить обстановку. Запад. Ясно?

— Ясно, товарищ старшина.

— Не слышу.

Безветренный предвечерний воздух вздрогнул от повторного:

— Ясно!

— Вот теперь подходяще, — удовлетворенно сказал Барабанов и коротко козырнул. — Товарищ старший сержант, можете вести наряд!

— Есть вести.

— Наря-я-д, — Андрей привычно приподнял голос, чуть растягивая слова. — Смирно! На ремени! Налево!

Винтовки почти неслышно легли ремнями на плечи, только Феоктистов затвором зацепил противогазную сумку, съехавшую набок. Строй повернулся, замер, в ожидании следующей команды, и, когда Трубин после паузы кинул отчетливо: «Шагом марш!» — о землю бухнули разом, одним звуком, десять пар сапог.

Под одобрительным взглядом старшины плотная небольшая колонна двинулась через двор, печатая шаги, к воротам, которые уже успел с готовностью распахнуть дежуривший у проходной дневальный.

Когда подошли к главной казарме, Трубин подозвал Кучкильдина и приказал ему вести строй. Сам он в два прыжка взбежал на деревянное крыльцо, истертое ногами еще царских солдат и польских жолнеров.

В коридоре на первом этаже, недавно таком оживленном, было теперь по-нежилому тихо. Комнаты штаба закрыты. Сиротливо пестрела на фанерном щите для объявлений цветная афиша кинофильма «Фронтовые подруги», нарисованная рукой библиотекаря сержанта Макарова. Андрей знал, что писем ему нет, и все-таки приостановился возле ящика на стене, разгороженного на клетки с буквами по алфавиту. В отделении на букву «Т» торчал уголок конверта. Все то же. Лейтенант Таран месяц как выбыл из части, а письма идут и идут. Счастливый.

Андрей подержал чужое письмо в руках, посмотрел с сожалением в соседнюю ячейку, в которой ничего не было. Его потянуло заглянуть в клуб: двери были тут же рядом

и не закрыты. Он перешагнул порог. Полумрак. Тишина. Не слышно торопливых шагов заведующего клубом младшего политрука Синицкого, никто не бренчит на пианино за плюшевым занавесом. На дверях библиотеки замок. Не верилось, что совсем недавно, Первого мая, здесь было шумно, выступали участники художественной самодеятельности, и он читал свои стихи. Вот и напоминание об этом вечере: фотографии участников концерта. Снимал Синицкий для выставки в окружном Доме комсостава и часть оставил для себя.

Андрей подошел к стенду. На фотографиях все в концертных костюмах. Во фраке, в белых перчатках и в цилиндре — ефрейтор Горбань, «соловей», как называли его в части, исполнявший арию Ленского. Красноармеец Кузовкин из взвода связи и жена начальника штаба майора Ширякова — в платье чеховских времен. Она играла вдову из водевиля «Медведь». Лица все знакомы. Сквозь самодельный грим легко узнать каждого. Но Андрей не стал вглядываться. Внимание его приковала одна фотография. На ней девушка в расшитой украинской сорочке, широко раскрытые глаза полны света. В уголках губ — улыбка, мягкая, с лукавинкой. Светлые густые волосы уложены на голове венком, будто свитые из спелой пшеницы. На шее монисто, по плечам ленты, прямо Наталка-полтавка.

Карточка уголками чуть держалась в прорезях картона. Андрей, с заколотившимся от принятого решения сердцем, оглянулся на дверь, оставленную полуоткрытой, убедился, что никого за ней нет, и высвободил один краешек фотографии. Потом быстро вынул ее всю, засунул в карман гимнастерки рядом с комсомольским билетом и выбежал, довольный своим поступком.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Трубин догнал наряд уже далеко за воротами и, припоровившись к общему ритму, зашагал сбоку, незаметно войдя в роль командира, привычную и волнующую. Он каждый раз испытывал какую-то особую приподнятость, когда вел по улице строй. Вызывало гордость сознание, что ты — командир и строй подчинен твоей воле. Ты можешь приказать, и люди пойдут быстрее. И наоборот, скажешь: «Короче шаг», и движение замедлится. Можешь скомандовать: «Бегом!», свернуть налево или направо.

И никто не возразит, не воспротивится приказанию. И сам можешь идти рядом со всеми, а можешь в стороне. И неважно, что в петлицах всего по три рубиновых угольничка,— все равно командир. И главное, все видят, что ты командир.

Он шел нога в ногу со строем, то и дело, как бы невзначай, касаясь рукой кармана гимнастерки, где лежала фотография, и незаметно, не поворачивая головы, поглядывал по сторонам. Правда, на улице никого не было в этот предвечерний субботний час и дома стояли с прикрытыми от дневного зноя ставнями, как сонные, но наверняка чей-нибудь любопытный девичий глаз поглядывал в окошко из-за занавески. Возможно, и той, которая бросила ему георгин.

Андрею захотелось взбудоражить сонную улицу этого маленького городка, затерявшегося в лесах Западной Белоруссии, привлечь внимание и уж не только к себе, а ко всему строю. И он, стараясь передать свое настроение, свою приподнятость всему наряду, скомандовал:

— Тимошенко, песню!

Признанный запевала, в котором, по словам Адамовича, «откуда и что бралось», Василь Тимошенко не заставил себя ждать. Он оглянулся на начальника караула, как бы показывая, что за ним дело не станет, пропустил для разгона несколько шагов и звонко, чистым высоким тенором завел с украинским выговором:

Красноармеец був герой
У разведки боевой...

Строй подхватил дружно:

Эх, да герой!
На разведке да боевой...

Строй едва успел закончить, а запевала уже выводил дальше, на высокой ноте:

У разведку он ходив,
Усе начальству доносив...

Не зря младший политрук Синицкий упрасивал лейтенанта Култаева освободить красноармейца Тимошенко от очередных нарядов для участия в спевке!

Ага, цель достигнута. В одном окне дрогнула шторка, отодвинутая торопливой рукой, в другом доме за плетнем мелькнул белый платок... В строю это тоже заметили.

Принес подхвачен еще дружнее. Пел молчаливый Кучкильдин, подтягивал, как мог, не обладавший особыми вокальными данными Ташаубаев, и даже Клевакин, шедший замыкающим и всем видом подчеркивавший свое независимое положение в строю, сам того не замечая, добросовестно подхватывал:

Эх, да герой!
На разведке боевой!

Но песня зазвучала особенно бодро, когда взвод поравнялся с небольшим кирпичным домиком под замшелой черепичной крышей, с весело глядевшими на улицу окнами. Андрею не надо было задумываться над причиной. В домике-теремке жила всем знакомая Фаня, кассирша местной фотографии.

Никто не знал точно ее фамилии, знали имя и еще, что она польская немка. Зато влюблены были в нее все без исключения. В крохотном фотоателье, наспех оборудованном с приходом Красной Армии, клиентов было хоть отбавляй, особенно по выходным дням. Тут и красноармейцы и младшие командиры, заходил и средний комсостав, но преобладали летчики, так как неподалеку от местечка, в бывшем монастыре, размещался истребительный полк.

Обратить на себя внимание Фани, перекинуться с ней словом стремились все. Не избежал этого и Андрей. Дня три, после того как первый раз побывал в фотографии, не мог прийти в себя. Несколько воскресений околачивался в фотоателье папа Кнуша, но потом благоразумно решил не терять времени попусту. Тем более что Фаня, судя по всему, сделала выбор. Счастливец оказался грузин-капитан из штаба летной части. Круг поклонников Фани сразу сузился.

Под вечер Фаня обычно бывала дома, ухаживала за цветником под окнами. Вот и теперь за штакетной оградкой палисадника бабочкой мелькнула ее цветная кофточка. Фаня несла лейку с водой и приостановилась, как только строй грянул дружно:

Белоруссия родная, Украина золотая...

песню, которая особенно удавалась под строевой шаг.

Андрей не утерпел, подошел к оградке, шутиливо взял под козырек. До чего же хороша она даже и в этой домашней простенькой кофточке и босиком. Волосы схвачены голубой ленточкой. В кармашке фартучка садовые ножни-

цы. А какая рука! Мокрая, выпачканная землей и все равно красивая: на ней и грязь не грязь. Фаня осторожно прижала ладонь к уху, чуть зажмурилась, выражая изумление:

— О, как громко поют. И хорошо вельми. Пан командир, то есть, товарищ. Я все забываю. Завтра воскресенье, праздник, как это по-вашему: выходной день? А вы работаете, то есть совсем как в будни. У вас служба?

— Служба.

— Тогда счастливо!

Улыбка, взмах руки. Фаня что-то еще сказала, Андрей не расслышал, перемахнул на мостовую с дорожки, как на крыльях.

— Отделение, шире шаг! Ноги не слышу.

Хорошо спетая песня, встреча с Фаней — все это требовало определенной разрядки. Поэтому, как только домик остался за углом, раздались голоса:

— Карнач, привал на одну минуту.

— Горло промочить, пересохло.

Трубин вскинул руку с большущими, похожими на банку из-под гуталина, кировскими часами. Время в запасе было, да уже и в привычку вошло останавливаться на пути в караул здесь, в конце улицы, возле колодца. Замечательная была в этом глубоком колодце вода, родниковая, холодная, как лед. Глоток — и жажды как не бывало. Приветливо стояла на краешке дубового сруба деревянная бадья-цыбарка, как бы приглашая каждого остановиться, отведать колодезной воды.

Направляющие, Кучкильдин и Тугаринов, повернули головы, смотрели на Трубина. Хотя на пути к объекту останавливаться караулу не рекомендуется, они знали — командир разрешит напиться. И Андрей скомандовал:

— Приставить ногу! Вольно!

Минута, и строй сломался, все окружили колодец. Тугаринов, оставив винтовку, выплеснул из бадьи согревшуюся на солнце воду и опустил ее в глубину колодца. Загремела цепь, намотанная на вал, смолк, удаляясь, стук цыбарки о бревно сруба.

В ожидании Пряхин полез в карман за кисетом. Адамович пилоткой вытирал вспотевшее лицо.

— Эх, а дали мы здорово! Фаня как смотрела, заметили? Товарищ старший сержант, про кого это она вам говорила? Не про меня, случаем? Что-то мне икнулось.

— Про тебя, про тебя, — закивал, посмеиваясь, Ташау-

поздоровался, чуть коснувшись рукой шляпы, выгоревшей, с обвисшими полями, похожей на дряблый лопух. Но колючий прищур маленьких, глубоко вдавленных глазок старика в один миг начисто отбил у Андрея аппетит.

— Панове жолнеры пробуют яблоки из моего сада?— заговорил он с ехидной улыбкой.— Они им нравятся? Я рад. Очень рад. Это хороший сорт. Если осторожно снять с дерева и положить в подвал, можно сохранить до будущего лета. Уверяю вас. Но в таком случае, почему панам жолнерам, извините,— панам капралам, наверное, не войти в мой сад? Пусть отведают и другой сорт. В моем скромном саду есть и другие сорта яблок. А то люди увидят, что вы тут на улице, и всякое могут подумать. Могут сказать, что вы без разрешения рвете яблоки. Чего доброго командирам вашим скажут. На Червонную Армию пятно. Люди разные. Всякие люди.

Положение было не из приятных. Андрей чувствовал себя как воришка, пойманный с поличным, на месте преступления. Старикау ничего не стоило назвать их ворами, а не расточать колючие любезности: факт есть факт. Ничего не стоило и сообщить в часть. Взвод не успел далеко уйти, да и другие подразделения вот-вот подойдут. Скажет любому командиру: «Ваши два сержанта рвали яблоки»,— и проработка обеспечена, если не хуже.

Что было делать? Извиниться перед стариком и уйти или, наоборот, воспользоваться его приглашением? Может быть, колючесть в его взгляде просто показалась и зовет он искренне, а откажись — обидится.

Андрей посмотрел на приятеля. Тот сидел тоже растерянный, рука с надкушенным яблоком спрятана за спину, на лице вопрос: как быть?

Выручка явилась неожиданно. Еще до того как появился старик, они видели высокую бабку, подходившую с ведрами к колодезю посреди улицы. Сейчас эта старуха звала их:

— Эй, хлопцы, подте сюда. Помогните старухе. Бадью не выйму.

Приятели, едва осознав смысл ее просьбы, кинулись к ней оба разом. Мешая друг другу, вытянули тяжелую бадью с водой, а затем уже без приглашения схватили и полные ведра.

— Бабушка, куда поднести?

— А прямо, через дорогу,— кивнула старуха и пошла впереди, с цветастым расписным коромыслом в руках. Во

дворе она молча распахнула перед ними жердяные ворота и кивнула на крылечко — туда.

Андрей и Вася поднялись с ведрами по скрипучим, выскобленным до желтизны ступенькам и очутились в полутемных сенях, где на земляном полу грудой лежали тыквы и пахло конопляным семенем, но бабка провела их дальше, в хату. Там они поставили ведра на припечек и хотели уйти, но хозяйка удержала их властным жестом:

— Погодите.

Из-за печки вытащила корзину с яблоками, такими же налитыми, как и те, что они сорвали у соседа.

— Ешьте. Да сидайте, если есть время, а нет, так возьмите с собой. Ешьте,— повторила она, заметив их нерешительность.— Добра этого нынче, слава богу, уродилось. Федько, принеси-ка, на чем посидеть.

Из соседней комнаты тотчас явился парнишка лет двенадцати с двумя табуретками в руках. С любопытством, но без удивления оглядел военных. Он, видимо, готовил уроки, и пальцы его были в чернилах. Светлые волосы взъерошены — не иначе как запускать пятерню, решая трудную задачу.

— Внучонок, сирота,— сочла нужным представить бабка и легонько подтолкнула его назад в горенку.— Ступай.

Друзья, не садясь, съели по яблоку, по паре сунули в карманы и поспешили распрощаться с хозяйкой, сославшись на дела. Старуха не стала удерживать, вышла проводить.

— Бывают тут ваши солдаты, останавливаются у колодца. Ковшик берут напиться, и вы заходите. А от того дида, что заговаривал с вами, лучше подальше держаться. Захочется яблока или еще чего — заходите до меня,— сказала она, хотя по-прежнему внешне сурово, но с оттенком доброжелательности в голосе. И Трубин, уловив в ее словах что-то теплое, благодарный за этот ее совет, с готовностью пообещал:

— Зайдем. Спасибо.

И зашел вскоре. Повстречал на улице Федьку и незаметно за разговорами с ним очутился возле жердяных знакомых воротец. А потом стал бывать просто так, без причины, один и с товарищами. Что-то тянуло сюда, в эту скромную хату, может быть, домашняя обстановка, которую не успел забыть за время недолгого студенчества и потом службы в армии. Привык к Федьку и к его бабке,

понял, что только на вид так сурова эта высокая и не очень разговорчивая старуха. Да и внешняя суровость ее не удивительна. Тяжелая, неласковая жизнь была за ее плечами.

Шесть мужчин,— очень похожих один на другого,— молчаливо смотрели с фотографий на стене в хате бабки Несенко. И только один из всех был жив: остальных унесла война. Мужа разорвал австрийский снаряд под Перемышлем в 1915 году, трех старших сыновей свалили пули петлюровцев в гражданскую войну, а одного — отца Федько — свел в могилу туберкулез, подхваченный в сырых казематах панской тюрьмы. И лишь последний, самый младший, сын остался жив и сейчас служил в Красной Армии далеко от дома.

Будто своих сынов, угощала бабка яблоками и помидорами, тыквенной кашей и варениками, щедро подливала в стаканы терпкую сливовицу в Новый год, когда Андрей с друзьями забежал на минутку поздравить бабку с праздником да так и остался на весь день. Через них завязалась дружба всего караульного взвода с бабкой Несенко, над которой было взято своего рода шефство. Весной красноармейцы помогли ей копать огород, подправили похилившийся без мужских рук плетень. В ближайший выходной день весь личный состав взвода собирался объявить аврал и заменить трухлявую соломенную крышу на хате.

Каждый старался в чем-нибудь ей помочь. Потому и ковшик, после того как напились холодной колодезной воды, изъявили готовность отнести бабке чуть не все. И когда выбор пал на Адамовича, тот не просто повесил его на плетень, как велела бабка, а занес в дом: чего же старой выходить лишний раз.

Тут же, почти сразу за бабкиной хатой, начинался редкий сосновый лес и улица переходила в песчаную широкую дорогу, вдоль которой шагали телеграфные столбы, под зелеными кронами сосен белели чашечки изоляторов. Если идти прямо, то можно было километра через полтора оказаться на просторной поляне — старой вырубке, где среди пней желтели на каждом шагу песчаные холмики-брустверы одиночных окопов-ячеек, отрытых красноармейцами во время тактических занятий. Потом дорога снова тянулась по лесу, пока не выходила к мрачному, будто взятому изморозью кирпичному сооружению на берегу речки, у моста — паровой мельнице.

Трубин, не доходя до поляны, скомандовал свернуть

влево, на совсем узкую, почти неприметную дорогу, усеянную сухими сосновыми шишками.

Можно было обойтись и без команды: поворот был хорошо знаком каждому из наряда, мерян и перемерян ногами красноармейцев. Лес вел здесь упорную борьбу за каждую пядь земли. Сосновая поросль напирала на дорогу. Крохотные деревца, похожие на воткнутые в землю зеленые ершики для чистки винтовок, щетинились даже в колеях, изломанные и придавленные колесами автомашин, но живучие, живые. Горячий хвойный настой в воздухе был так густ, что, вдыхая его, Андрей ощущал на губах горьковатый привкус смолки. Солнце клонилось к закату, и лес пронизывали насквозь косые дымчатые полосы.

Андрей, чуть приотстав на узкой дороге, шел, отводя от себя колючие макушки сосенок, наслаждаясь спокойной тишиной леса. В строю все приняли положение «вольно», расстегнули воротнички, сняли пилотки. Шагавший замыкающим красноармеец Ольховский, дотянувшись, сломил с сосенки розоватую клейкую свечку, приставил к ней растопыренную короткопалую пятерню.

— Во насколько вымахала с весны: на четверть.

— С папиросы, какие ты накручиваешь из чужого кيسета,— уточнил с невозмутимым видом Адамович и, вскинув вверх свои выпуклые глаза, мечтательно вздохнул.— Эх, други, красота какая! Вы только обратите внимание: кругом сплошная лирика! Есть же на свете где-то люди, которые сейчас чаи распивают на вольном воздухе или в кино собираются. А мы шагаем себе. Куда шагаем?

— Не знаешь куда? Свидание торопимся с девушкой. И ты шагай. Отстанешь,— шутливо подтолкнул его идущий сзади Ташаубаев.

— Касыму хорошо. Дома побывал, кызымку свою по-видал и помалкивает.

— Зачем кызымка? Моя жена есть, Шолпан звать,— возразил Ташаубаев, широко и белозубо улыбаясь.

— Тем более. Счастливый ты, Касым. А тут хоть бы рядом пройти по такому лесу...

— С Фаней,— подсказал Ольховский, поправляя на ходу иголку с ниткой, хозяйственно воткнутую за отворот пилотки.

— В отношении Фани моя точка зрения ясная,— спокойно ответил Адамович.— Можно и попроще. Да и что особенного в Фане? Я встречал не хуже ее у себя в Озерцах.

Встречал или встречался?

Говорю, встречал. А что дальше было — об этом речь особая. Отпускал, помню, пшено — тогда что-то туго было с крупами — очередь, само собой. Беру бумагу, свертываю кулек и пличкой в него — раз! Потом на весы. По сторонам не смотрю: некогда. Занят. И вдруг чувствую на себе взгляд. Поверите, вот так, как эту сбрую сейчас чувствую на плече, — Адамович дотронулся до лямки противогаза. — Сыплю пшено в кулек и мимо, под ноги, мышкам на утеху. И было отчего, честное танкистское. Стоит возле прилавка дивчина, глаза — пропасть, улыбка на губах — наркоз, волосы из кольца в кольцо, смольяного цвета. Про все остальное я не говорю. Все в наилучшей форме, пропорция полная. Одним словом, Венера...

— Милосская, — подсказал Андрей.

— Точно. И ведь откуда взялась? В поселке у нас таких нет. Как с неба свалилась. «Товарищ продавец, есть, говорит, у вас какао «Золотой ярлык»? Если есть, подайте, пожалуйста. Извините, что без очереди: времени нет». — И в сторону очередных тоже, простите, мол. А голос у самой, братцы, вот голос — сроду такого не слышал и не услышу. Не просто красивый — не то слово, — сложный до невозможности. Вот если взять баян, придавить клавиши все разом и растянуть: вот такой голос.

— Ну, и ты дал? — не утерпел Ольховский.

— О чем вопрос. Конечно. Такой не то что какао — самого себя вне всякой очереди отдал бы, при первом спросе.

— И не обсчитал ее?

— За кого ты меня принимаешь, табачный иждивенец? — притворно обиделся Адамович. — Да если хочешь знать, я на деньги даже и не посмотрел. Подал ей «Золотой ярлык» и спрашиваю, не надо ли еще чего. Начал перечислять весь ассортимент сельповской лавки, чтобы только постояла подольше. Тетки в очереди шуметь стали, чтобы отпускал пшено. А как отпускать, если глаза незнакомки приковали меня и держат, как магнитом. Но все же нас разъединили покупательницы. Ничего не поделаешь: пайщики. Только и того, что успел кое-как установить личность. Оказалось, что она учительница. Приехала на лето к родичам, в деревню. Раздобыл я ее адресок и наведалься вскоре. Только не совсем удачно.

— Что так? — заинтересовался теперь уже и Пряхин, попыхивавший на ходу цигаркой и молчавший всю дорогу. Адамович вздохнул:

— Замужняя оказалась. Опоздал. Стучу в дверь, вот в такое же время, под вечер,— помню еще солнце в глаза било, а сам весь замираю в ожидании. Кажется, вот-вот появится она, может быть, даже и в комнату пригласит. На ботинки поглядываю, не грязные ли? И вдруг вырастает на пороге этакий дядя — в плечах косая сажень, хмурый, вроде нашего Тугаринова, и на меня быком: в чем дело?

Как ему объяснить? Пробормотал я что-то вроде: «Винovat, pardon» и даю задний ход, а сам ориентируюсь: сколько позади ступенек и далеко ли до земли — на случай, если придется совершить полет с вынужденной посадкой. И от его бицепсов глаз не отвожу, а они у него внушительные, в точности, как у Тугаринова. Паша, ну-ка покажи для сравнения.

— По шее, может быть? — повернувшись через плечо и посмеиваясь припухшими глазами, предложил Тугаринов.

— А что, шутка, думаешь? Один у нас полез вот так, по предварительной договоренности, учти, в окошко к заведующей магазином, а его опередил какой-то тип и встретил таким приветом, что челюсть в районной больнице хирург вправлял: едва вправил. Причем, часть костей пришлось заменить.

— Як заменить? — удивленно переспросил Василь Тимошенко.

— А очень просто, запасными. Мало ли там физиономий побитых. Комбинируют: у одного одно берут, у другого — другое. Как в деревне старые машины раскулачивают. Видел, небось, в своем колхозе?

Все хохотали, слушая Адамовича. К балагурству его давно привыкли и никто уже не пытался установить, что правда, что выдумка. Один Клевакин, шагавший замыкающим, хранил хмурое молчание.

Но Адамович уже перекинулся на другую тему, жалел, что не придется завтра побывать на соревнованиях по волейболу.

— Эх, други-приятели, у летчиков наверняка будет буфет. Это же не то, что пехота-матушка. Может, пивка бы обломилось. И потом — девчата! В столовой у них официантками подобраны такие кралечки. С расчетом, сначала официанткой, а потом и замуж за летчика.

За разговорами незаметно вышли на дорогу. Впереди сквозь деревья завиднелась ограда из колючей проволоки

и потемневшие шиферные крыши приземистых кирпичных строений. Трубин скомандовал: «Прекратить разговоры! Разобраться!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Андрей очень хорошо знал, как томительно тянутся последние часы в карауле, как не терпится, чтобы скорее пришла смена, и несколько не удивился тому, что начальник караула сам распахнул перед ними ворота. Зато Васю Коржова приход друга озадачил.

— Ты чего это явился?— спросил он, вскинув ладонь к пилотке, и тень удивления мелькнула на его крупном, округлом лице.

— Тебя сменить,— сказал Андрей.— Воскресный наряд, как видишь. Особое доверие. Повезло.

Напряженность во взгляде Коржова пропала. Он понял — ничего не изменилось. Усмехнулся угрюмо:

— Сам напросился для закругления впечатлений? Боишься, что никогда больше не испытаешь этого счастья?

— Назначили. Приказ старшины. Вместо Аветисяна. Завтра матч.

— Ну пошли,— с подчеркнутым равнодушием кивнул Вася и лязгнул металлическим засовом ворот.

Остановив наряд, Трубин вслед за Коржовым прошел внутрь караульного помещения. Тут уже шли сборы. Караульные надевали на себя скатки, противогазы, разбирали из пирамиды винтовки.

Андрей, несмотря на то что уже разговаривал с приятелем, по-уставному представился ему:

— Начальник нового караула старший сержант Трубин.— И сообщил пароль.

— Все в порядке,— Вася козырнул.— Выходи строиться!

Через минуту оба они выстроили свои наряды лицом к лицу на посыпанной песком площадке перед караульным помещением. Подав команду «смирно», сделали навстречу друг другу по два шага. Андрей доложил первый. Десятки раз выполненная до этого привычная процедура смены караула волновала его сейчас именно потому, что была последняя. Так пусть она будет проведена по всем правилам.

— Товарищ сержант, новый караул прибыл. Начальник караула старший сержант Трубин.

Ему показалось, что и у караульных на лицах выражение особой внимательности, ведь все они знают, что он тут последний раз. И только Вася ничем больше не выдавал своего состояния. Спокойно, почти безразлично произнес в ответ:

— Товарищ старший сержант! Старый караул к смене готов. Начальник караула сержант Коржов.

Трубин подал команду:

— Новый состав караула, налево! В караульное помещение шагом марш!

Вошли и сразу наполнили помещение звуками голосов, шарканьем подошв. Стали снимать с себя скатки, ставить оружие в пирамиду. Адамович, оглядевшись вокруг и потянув крючковатым носом воздух, с притворной печалью вздохнул:

— Ну вот и родная обстановка. Ничего не изменилось, даже муха на потолке сидит та же самая и запах одеколона «Жасмин», которым обильно побрызгали Пашу в парикмахерской, не рассеялся.

Все знали о дружбе Тугаринова с любвеобильной военоторговской парикмахершей тетей Стюрой, знали о том, что он нередко навещает ее и что именно по этой причине Тугаринов опоздал из увольнения. Чтобы не напоминать лишний раз товарищу о неприятности, все дипломатически промолчали. Но Тугаринов, не очень-то воспринимавший подшучивания на свой счет, в этот раз сам глухо хмыкнул:

— Ты, давай, не накручивай. Позавчера я брился дома. Да и не «Жасмин» вовсе в парикмахерской, а «Сирень».

— Неужели меня нос подвел?— огорчился Адамович.— Показалось, что «Жасмином» пахнет. Значит, кто-то другой пользовался этими духами. Ты поинтересуйся. А пахнет ведь действительно, вот Феоктистов подтвердит.

— Да, да, конечно,— как всегда машинально, кивнул тот, стягивая неловко через голову лямку противогаза.

— Первая смена, становись!— скомандовал Кучильдин. Разводящий словно преобразился, попав в караул. Куда подевалась его медлительность, почти вялость. Он — весь официальность. Костистое лицо сурово. И голос сразу стал твердым, властным:

— Караульный Адамович! На место. Прекратить разговор!

Первая смена выстроилась в порядке постов. На правом фланге встал сам Кучкильдин, с непроницаемым лицом, винтовка «к ноге». Рядом с ним — разводящий старого караула, тоже ефрейтор, со смешной фамилией Сапожок. По команде Трубина «разводящий, заряжай» Асхат вскинул винтовку, направив дуло вверх, под углом в сорок пять градусов, как требует устав. Одновременно с ним зарядил оружие и ефрейтор Сапожок. А дальше команда перешла уже к самому Кучкильдину:

— Смена, справа по одному заряжай!

Все уставили винтовки в потолок, защелкали затворы. Считанные секунды — и все готово.

— За мной, шагом марш!

Бухая сапогами по цементному полу, смена вышла. Андрей, выстроив остальных, поставил задачу на случай отражения нападения и пожара. Проверил обязанности бодрствующей смены. Стоявший рядом Вася Коржов нетерпеливо напомнил:

— Пойдем, осмотришь посты.

— Чего ты их экзаменуешь? — хмуря пушистые брови, сказал он, когда вышли. — Всем это давно набило оскомину. Твердим без конца одно и то же. Одуреть можно. И взбрело кому-то затуркать нас в эту дыру. Караульный взвод, охрана важного объекта, боевые задания. Чего тут боевого? Да, в лагерях сейчас интереснее в тысячу раз. Там хоть учишься стрелять, а здесь прозаряжаешь все три года один и тот же патрон и сдашь его перед отъездом домой в целости и сохранности старшине. Да и дома спросят: где служил? Танкист? Артиллерист? Минометчик? Нет, железки караулил. — Вася усмехнулся, глядя под ноги.

— Ну, завидовать тем, кто в лагерях, вряд ли стоит, — возразил Андрей. — Забыл, как в полковой гоняли летом, брюхом землю утюжили на тактике. Вспомни капитана Марченко: «Противогазы надеть, бегом! Плохо поете, бегом! Тяжело в учении — легко в бою. Зарубите себе на носу!» — процитировал он, копируя капитана Марченко.

— Лучше на пузе, по-пластунски, чем каждый день одно и то же: «Разряжай, заряжай! На пост шагом марш!» В зубах навязло. Буду проситься в другое подразделение.

Благоразумнее всего сейчас было переменить разговор, не возражать Васе. Кто-кто, а Андрей знал, что плохое настроение у приятеля вовсе не из-за караульной службы, а из-за обиды, тяжелой обиды, которую ни за что ни про что нанесли ему какие-то люди.

Андрею стало жаль друга.

— Послушай, Вася, а что если я поговорю насчет тебя, а?

— С кем и где?

— В училище. Ведь могло твое заявление попасть не к тому, к кому нужно, могли не разобраться... И потом, это же бумага. А тут я сам расскажу все о тебе, понимаешь? И из училища пришлют вызов непосредственно тебе, а не через штаб...

— Что ты скажешь? Там все прекрасно знают и без тебя. В ответе же ясно сказано: отказать.

— Нет, серьезно. Попытаюсь.

— А-а,— Коржов отмахнулся знакомым жестом, как бы ставя точку, и даже прибавил шаг, тяжело ступая по травянистой тропинке разношенными кирзовыми сапогами.

Приятеля подошли к складам. Андрей помнил наизусть, сколько дверей, окон, замков и печатей на этих приземистых, словно вросших в землю, кирпичных, старинной кладки строениях, знал, что в них хранится. Не раз видел он, как с грузовиков осторожно снимают и вносят в склад деревянные небольшие ящики с веревочными ручками — там патроны, ящики подлиннее, с разноцветными полосками, сделанными краской — дымовые шашки. Несколько раз привозили гранаты.

Андрей однажды в знойный полдень заглянул в приоткрытые двери хранилища, манившие холодком. В глубине помещения, в прохладном полумраке, ходил завскладом. Он что-то переставлял с места на место. Высокие стеллажи, поднимавшиеся с полу до потолка, были тесно уставлены ящиками. Из-под сдвинутой крыши одного из них на Андрея угрожающе нацеливались рыжие от густой смазки головки артиллерийских снарядов. Тысячи смертей, могучая сила зловеще дремала в деревянных гнездах стеллажей, под крышей этих мирных, не приметных с виду строений. Вот почему у входа образцовая чистота. Под ноги брошен соломенный мат, такими же матами устланы и проходы между стеллажами.

Сразу за хранилищем, на горке, поросшей чахлой травой,— пост. Дощатый грибок с висящим на столбе дождевиком, окоп с бруствером, замаскированный дернинами, с круговым сектором обстрела. Андрей, остановившись, огляделся. С возвышенности хорошо просматривалась территория склада — квадрат метров триста, обнесенный изгородью из колючей проволоки и разделенный проволо-

кой на две неравные части внутри. Большую часть занимали хранилища и пожарная будка с колодцем, меньшую — караульное помещение, помещение для караульных собак и контора склада — небольшой бревенчатый дом.

Склад находился в центре обширной лесной поляны. Деревья здесь были вырублены еще в то время, когда его строили. На одном из хранилищ выложена из кирпича дата: 1912 год. Но оставшиеся кое-где толстые смолистые пни, не поддавшиеся времени, пришлось выкорчевывать уже караульному взводу. В сумерках пень казался человеком, притаившимся в траве, и смущал часовых. Не топтанная, не мятая никем лесная трава лезла на поляне неудержимо. В это лето ее уже дважды выкашивал собаковод Уляшев, по своей крестьянской привычке жалевший, что столько сена пропадает зря.

Все пространство вокруг территории склада было знакомо Андрею, как и Васе Коржову, до мельчайшей кочки. Каждый метр исхожен днем и ночью, каждый предмет отмечен и учтен, как ориентир. А в лесу, что окаймлял поляну, проводилась ходьба по азимуту. Там на добрый десяток километров тянулся сосновый бор, который переходил в смешанный лес, и за ним начинались болота. Бронзово-зеленая стена леса будто пылала, подожженная закатным солнцем.

Андрей, по мальчишечьей привычке, сквозь ресницы глянул на багровый, иззубренный вершинами сосен солнечный диск и усмехнулся. Он вспомнил, как, попав сюда, в первые дни не мог сориентироваться: все ему казалось, что солнце встает и садится совсем не там, где нужно. Коржов заметил его улыбку.

— Давай проверяй посты. А то найдешь потом непорядки какие-нибудь.

Подожли разводящий со сменой, остановились возле часового. Кучкильдин скомандовал:

— Красноармеец Адамович, на пост шагом марш!

Часовой, стоявший с винтовкой «к ноге», сделал шаг вправо, и Адамович, сейчас серьезный, сосредоточенный, стал на его место.

— Часовому сдать пост! — приказал разводящий старого караула.

Часовой повернул голову к хранилищу.

— Пост номер три. Под охраной склад. Дверей — двое, окон десять, печати две, обзор — вперед и направо, сигнала

лизация — свистком, имущество — дождевик, огнетушитель.

Вслед за этим оба часовые обошли вокруг склада, все осмотрели и, вернувшись на прежнее место, опять стали рядом, только теперь лицом к объекту стоял Адамович.

— Товарищ ефрейтор, пост номер три сдал.

— Товарищ ефрейтор, пост номер три принял. Под охраной находится...

Андрей всегда чувствовал себя немного взволнованным перед заступлением в наряд. Впереди сутки напряжения, ночь без сна, ответственность и в то же время независимость. На эти сутки ты как бы выбываешь из обычной, многоступенчатой лестницы армейского подчинения, и придирчивый старшина над тобой не властен. Один для тебя закон — устав. И единственный начальник — дежурный по части. Нравился ему и четкий ритуал караульной службы: ничего лишнего, все продумано, отработано. Андрей охотно наблюдал смену часовых. Но Вася Коржов и в этом сейчас не особо разделял его настроение.

— Ну, все,— сказал он,— без нас сдадут.

— На собак взглянем?

— Как хочешь.

Не дожидаясь конца развода, они быстро обошли посты и на обратном пути завернули к собачнику — землянке с двускатной крышей, неподалеку от караульного помещения. Приближалось время заступления на пост и для собак. Собаковод, или, как значилось в таблице постов, разводящий караульных собак красноармеец Уляшев, длинный и пескладный, в клеенчатом переднике, возился возле очага: готовил ужин своим подопечным. В котле под дощатым навесом булькало варево. Пахло дымком и пшенной кашей. Собаки, привязанные у землянки, чуя запах еды, нетерпеливо повизгивали, натягивали сворки. Безучастной оставалась лишь одна рыжая длинномордая сука. Она лежала, свернувшись клубком, и сквозь дрему косила прищуренным острым глазом.

Уляшев при виде сержантов поспешно отложил черпак на длинной ручке и, не отходя от плиты, неловко, боком вскинул мокрую распаренную ладонь.

— Товарищи командиры. Разводящий караульных собак. Происшествий нет. Собираемся в наряд...

Уляшев докладывал, обращаясь к обоим начальникам караула сразу. Вид у него был до того нестройной в этом фартуке, с загнутыми по локоть рукавами гимнастерки и

нахлобученной чуть не до ушей пилотке, что Андрей не мог удержаться от улыбки, слушая рапорт. Кого-то из персонажей средневековой истории напоминал ему этот тощий, нескладный с виду парень с бородкой клинышком, такой непривычной для красноармейца: не то одного из первопечатников или, скорее всего, Дон-Кихота. Для полного сходства с ним Уляшеву не хватало лишь нагрудного панциря и медного горшка на голове.

Но если у Дон-Кихота бородка была в порядке вещей, то Уляшев из-за своей бороды хватил лиха. Кержак, истовый старовер с Алтая, он ни за что не хотел быть «бритоусцем», нарушать обычай и наотрез отказался от бритья. Его старались убедить, но все это оказалось бесполезным. И его оставили в покое. Но служебные невзгоды кержака на этом не кончились. Что-то таежное, необоримое глубоко сидело в нем, дыбилось и «поперешничалось», мешая подстроиться под общий воинский ранжир. Ни к чему он как-то не подходил, никуда не вписывался своей угловатой неуклюжестью, а более всего своей бородой да и складом ума. Потому и мотался он вначале, переходил из одного подразделения в другое. Из взвода разведки его перевели в минометный батальон: какой же разведчик, если без конца шепчет молитвы да крестится. Минометчиком Уляшев был бы подходящим. Хоть с виду и тощ, но по-таежному жилист, силенка есть, плиту на спине таскать как раз. Но грамоты — кот наплакал. В минометном расчете обязательно взаимозамена номеров, а поставь его наводчиком, так он и цифр не разберет на барабанчике прицела. Выдворили и из минометчиков.

Так он и переходил из подразделения в подразделение, пока не направили его в караульный взвод, собаководом. И тут он неожиданно пришелся к месту.

Было ли здесь что-то от привычного крестьянского труда — дома в колхозе Уляшев работал сакманщиком, — только он с готовностью взялся за свои новые обязанности. Другие боялись собак, а он без труда освоился, привык, прежде всего по-хозяйски обзавелся инвентарем. У него и ведра, и топор, и коса, отбитая, как у доброго косаря. Штабелек мелко наколотых дров. И вокруг собачника порядок: ни обглоданных костей, ни кухонного мусора, кругом подметено, посыпано песочком. «Не придерешься», — подумал Трубин, не без удовлетворения оглядывая хозяйство собаководов.

— Ну, как дела? Значит, в порядке, разводящий?

— Ничего, однако, товарищ командир. Вот, припасаю еду им,— Уляшев кивнул на собак.

— Как с продуктами?

— Получены сполна. Мясо маленько с запашком. Уваривать приходится. Сплоховал я, рановато взял со склада. Жара.

— Собаки в порядке?

— Да, слава богу.

— А что с этой?— Андрей показал на суку, продолжавшую следить за посторонними желтым глазом.

— Это промеж нас,— усмехнулся в бороду Уляшев и пзялся за черпак.— Поссорились мы маленько. На меня обида. Ну ничего, помиримся, однако. У нас с ней это бывает. С характером животины.

— Значит, все в порядке?— переспросил Трубин, переходя на официальный тон.— С выставлением постов задержки не будет?

— Зачем же? Управляюсь в срок.

— Не забывай, Уляшев, наряд воскресный,— на всякий случай напомнил Андрей, обойдя котел, клокотавший паром.

Вася Коржов молчал.

Вернулись в караульное помещение. Бойцы из старого состава караула, готовые в путь, сидели в курилке вокруг бочки с водой, вкопанной в землю, держа винтовки между колен, покуривали, разговаривали. Трубин и Коржов прошли в помещение. Пока один сдавал, а второй принимал имущество (аптечку, шахматы, домино, ящик с патронами и второй — с гранатами), вернулись разводящие. Разрядили оружие. Доложили каждый своему начальнику караула о смене часовых.

Нигде, наверное, так тщательно не берегут имущество и оборудование, как в караульном помещении. Десятки раз видел Андрей и эти ящики с боеприпасами, и аптечку, и шахматы, а все равно все снова надо было проверять и пересчитывать, и малейшее изменение отметить. Но вот все закончено, подписана постовая ведомость, и Вася Коржов поднялся, поправляя ремень с наганом.

— Ну, мы двинулись.

— Я провожу,— сказал Андрей.

Смену построил и повел разводящий. Друзья пошли стади, чуть приотстав. Вася молча смотрел под ноги, хмурил свои лохматые выгоревшие брови. Он всегда казался немногo смешным, когда хмурился. Так не шла эта напуск-

ная угрюмость к его большому улыбчивому лицу. И Андрей, наблюдая за ним сбоку, пожалел, как ни разу до этого, что приходится расставаться с хорошим товарищем.

— Что тебе пожелать на завтра? Победы в игре?— сказал Андрей, стараясь преодолеть тягостное чувство и чуть тронув приятеля за локоть.

— Знаешь, о чем я думаю?— оставив без ответа его вопрос и по-прежнему глядя под ноги, сказал Коржов.— Вернусь из армии и уеду куда-нибудь сразу подальше, в тайгу, на край света учительствовать в самую отдаленную школу.

— А институт?

— Окончу заочно.

— И почему именно в самую отдаленную школу?

— Лучше... В центре кадров много. Не возьмут, да и не доверят чего доброго. А туда — направят. Желающих мало, и биография не помешает. Буду «сеять доброе, вечное». А для успокоения совести и в память о неосуществившейся мечте возьму по совместительству преподавание военного дела.

— Брось ты об этом,— поморщился Андрей.— Я уверен: твое заявление просто не дошло куда нужно. Избрали же тебя в комсомитет и в полковую школу направили. Не все же такие, как Клевакин.

— Не все,— согласился Коржов,— никто этого не говорит. Но, чтобы испортить бочку меду, не требуется столько же дегтя, достаточно одной ложки. А ты знаешь, что он жаловался на лейтенанта Култаева, потому что он меня назначил начальником караула на такой важный объект?

— Когда это было?

— Было. Сначала лейтенанту на меня, потом на самого лейтенанта.

— На него похоже,— Трубин выругался.— И ты не сказал. Мы бы вытянули на комитет, спросили про его аргументы. Если каждый начнет выражать сомнения... Брат за брата не отвечает.

— Да ладно,— Вася отмахнулся и, пересилив себя, растянул губы в знакомой широкой улыбке.— Не подумай, что расплакался. Живут люди без кубарей в петлицах и без звезд на рукаве. Просто жалко, что дружбе нашей конец.

— Почему конец? — запротестовал Трубин.— Я сразу же сообщу адрес. Будем писать. Да, может, еще и меня

не примут. Это же только вызов, сам понимаешь. А там экзамены. Попадется какой-нибудь, вроде капитана Марченко, экзаменатор и завалит, запросто.

— Не завалит. Марченки не очень тебе страшны. Валий, Андрюха, навешивай на себя кубари. Комсоставская форма тебе подойдет, и политрук из тебя будет хоть куда, прозой не убедишь, так стихами,— слегка подтолкнул друга Коржов, и добродушная улыбка на его губах притухла. — Ты собрался, а как же военфельдшер?

— Как-нибудь,— Трубин, застигнутый врасплох вопросом, попытался изобразить безразличие на лице и даже отделаться шуткой. — В песне же поется: «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Правда, в данном случае, приказ одному и не на запад, а на восток.

Вася нахмурился.

— А она знает, что ты уезжаешь?

— Письменно не уведомлял. Да и вряд ли это требуется.

— Ну, бывай, будущий политрук. Учись людей разгдывать,— Вася протянул руку, внимательно посмотрел на товарища и побежал догонять строй.

Андрей закрыл ворота, накинул щеколду и долго стоял возле проволоочной ограды, глядя вслед уходившему паряду.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Едва свернув в знакомый переулок, конь перешел на шаг, и лейтенант Култаев сразу почувствовал усталость. Суббота всегда была трудным днем, так как собирались дела за всю неделю, а в этот раз особенно. С утра занятия со взводом, потом договаривался с сельским советом об участке для сенокоса, завтрашние соревнования по волейболу (как-никак престиж подразделения) и, наконец, эта поездка на станцию: пока дождался коменданта, оформил литер...

От долгого сиденья в седле без привычки поламывало в спине, и жеребчик взмок: застоялся — небольшой пробег, а уже выдохся.

Култаев поднял стек, чтобы подстегнуть коня, и раздумал. У него самого вдруг пропало желание спешить домой, кажется, впервые за все время. Не то что не хотелось, а тяжело было. Жеребчик, словно угадав настроение хозяина, перешел на шаг.

Вечер был еще ранний, сумерки только начинали густеть. За крышами синело небо с воткнутым в него шпилем костела. Дома стояли как слепые, с зыбкой темью в стеклах окон: жители по-деревенски берегли керосин. Но в его квартире окно светилось, лейтенант увидел это издали. «Собирается», — подумал о жене Култаев, и сердце у него словно оборвалось, зануло. Он вдруг поддал коню шпор, послал в карьер. Возле калитки дома осадил. Легко, пружинисто соскочил на землю. Постоял, похлопал по шее Орлика. Ему стало жаль зря обиженного жеребчика. Потом он закинул повод на острие ограды, зашагал через двор по тропке, хрустевшей под ногами зернистым речным песком.

Он не ошибся: Даша укладывала чемодан. Вот теперь действительно расставание...

Култаев, хотя и настаивал на отъезде ожидавшей ребенка жены к своим родителям в Сибирь, но сам в душе все еще надеялся на непредвиденную задержку. Мало ли что могло случиться. Вдруг билетов не окажется или расписание поездов изменится, и можно будет выкроить лишний денек, побыть вместе. Но надежды были напрасны. Билет был куплен, и расписание поездов не изменилось. Теперь все. Никаких оттяжек не будет. И Даша, кажется, смирилась, перестала плакать.

— Вот и я! — сказал Култаев подчеркнуто веселым голосом, взглядываясь в склоненное над чемоданом лицо жены. Настроение у нас, вроде, нормальное?

— Гриша! Как ты долго. Я беспокоюсь, тебя нет и нет. — Даша повернулась к нему со стопкой белья в руках, маленькая и по-детски беспомощная в своем широком цветастом халатике, с тревогой и радостью в глазах на осунувшемся лице. В последнее время, видимо, из-за беременности и мыслей об отъезде, она стала печальной и не похожей на себя. Куда все подевалось. Прежде, бывало, не пройдет мимо зеркала без того, чтобы не притопнуть ногой, не крутнуться разок. И голос звенел на всю квартиру. А теперь если и поет, то вполголоса, над шитьем. Не хочет она ехать в дом свекра. Бойится, чудачка.

Култаев осторожно привлек жену к себе, коснулся губами ее щеки.

— Ничего не случилось, Дашок. Все в порядке, просто немного задержался в дороге.

— Ты пешком?

— Нет, Орлик у ограды.

— Не слышала, как ты подъехал. А я тут, видишь, занялась имуществом,— высвободив плечи, Даша с улыбкой кивнула на пеструю стопку, которую намеревалась уложить в чемодан: распашонки, крохотные носочки, шапочки — приданое будущему сыну! Култаев, как большинство отцов, мечтал только о сыне.

— Сколько комплектов? — он коснулся кончиком пальца лежавшей сверху кукольного размера рубашки из розовой байки, тщательно обметанной по краям шелковой ниткой.

Немало времени потратила Даша на шитье этих рубашонков.

— Скажешь. Комплектов. Ты все по-своему, по-солдатски. Привык.

— А где брюки? Не вижу.

— Какие брюки?

— Штаны для мужика. Мужика мне давай, сына. Договорились ведь?

— Когда это?

— Нет, ты скажи, будет сын, а? Иначе не выпущу. — Култаев подхватил жену на руки, приподнял.

— Гриша, с ума сошел!

— Отвечай.

— Пусти.

— Не пушу, не пушу! — он повернулся на каблуках.

— Ой, голова закружилась. Ему же плохо будет, маленькому.

— Ему? — испугался Култаев и сразу выпустил жену из рук.

— Да нет. Просто чтобы ты отпустил.

— Обманула? Хитрая. Ну берегись, — Култаев поцеловал жену.

— Гриша, ты хоть умойся сначала. Пылью от тебя пахнет и конем. И мы тут не одни...

— А кто еще?

Култаев оглянулся и только теперь заметил на вешалке пилотку и комсоставский плащ с зелеными медицинскими петлицами.

— Эскулап появился? Замечательно. Компания набирается, значит. Сейчас мы организуем ужин. Тут я прихватил, кстати, кое-что, — из кармана Култаев извлек бутылку вина, узкогорлую, с грузинской вязью на этикетке. — «Мускатель». А это тебе в дорогу, — он положил на стол два лимона. — Взял в вагоне-ресторане. Поезд как раз

дальнего следования, из-за рубежа. Говорят, итальянские. Ну, и вот это. Билет в купейный вагон, нижняя полка. Выпросил у коменданта. Тот берег для какого-то полковника. Устроишься и напрямик до места — ни пересадок, ни компостировки. Зови эскулапа и заканчивай с багажом: есть хочется. — Култаев отдал жене билет и заспешил на кухню к умывальнику, расстегивая на ходу гимнастерку и снимая планшет и ремень с пистолетом.

Чтобы не терять времени, он сам принялся было собирать на стол, но женщины тут же отобрали у него нож, посуду, сделали все сами.

Сели ужинать. Даша разложила по тарелкам глазунью, посыпанную зеленым луком, поставила на середину стола редиску в сметане. Култаев налил вино в граненые стаканы. Рюмок своих не было, а идти к хозяйке дома просить не хотелось. Чокнулся сначала с женой, потом с ее подругой, непривычно выглядевшей без военной формы в простеньком летнем платье, с волосами, перехваченными голубой ленточкой.

— Ну, эскулап, извиняюсь, Маргарита Ивановна: за счастливую дорожку Дашину.

— Что это вы меня так навеличиваете и разглядываете, Григорий Михайлович?

— Не узнаю, вроде изменилась от лагерной жизни.

— В лучшую или в худшую сторону?

— В лучшую, пожалуй. Загорела, возмужала. Настоящий доктор.

— Айболит? Сама почернела, волосы побелели, — девушка чуть тронула рукой выцветшую до соломенного оттенка прядь надо лбом. — В общем, стала пегой.

— Сюда каким ветром?

— Почти попутным. Отпросилась Дашу проводить. Ну, а для убедительности нашла причину: привезти кое-что из медикаментов. Убедила командира.

— Все?

— Все. А что еще?

— В лагерях там не подсмотрела себе жениха, случаем? Может быть, на свадьбу в шаферы готовиться?

— Так к нам же все болящие идут, в санчасть. Где уж тут женихи?

— Только ли болящие? А может, больше таких, у которых сердце не на месте?

— С больным сердцем мы отправляем в армейский госпиталь, — рассмеялась девушка.

— Смотри,— Култаев шутливо погрозил пальцем.— Мы ведь следим.

— Кто это «вы»?

— Наше подразделение. Заинтересованная, так сказать, сторона.

— Все?

— Все не все, а уж кое-кто определенно. А у нас во взводе один за всех, все за одного. Закон.

— Гриша,— вступилась Даша.— Чего ты привязался. Поднял тост, а сам? Риточка, не слушай его.

— Ладно,— согласился Култаев, хитро прищурившись на зардевшееся лицо военфельдшера.— Потом договорим. Но учти, все-таки за своих хлопцев я постою... Ну, на посошок. За тех, кто — в дорогу, кому ехать.

Чокнулись, выпили. Даша, чуть пригубив, отставила стакан, потупилась, подбородок ее дрогнул.

— Ну вот, свяжись с вами,— недовольно сказал Култаев, поддевая вилкой фиолетовый пластик редиски.— Глаза у вас на мокром месте. Ты — жена командира, боевая подруга. А кто такая боевая подруга, вспомни. Как на политзанятиях говорили? Чему вас там учил групповод? Или только время зря тратили?

— Подруга. Сам — здесь, а меня отправляет за тридцать земель.— Даша склонилась, кончиком передника вытирая глаза.

— Опять за свое. Это же временно, съездишь и вернешься.

— Шутка, вернешься. А за это время мало ли что может случиться. Не день-два.

— А что?

— Обстановка какая?

— А, вон что,— Култаев нахмурился, отложил вилку.— Сплетни какие-нибудь снова! Слушаешь тут, набираешься настроения.

— Не сплетни это, Гриша, нет. Если бы один кто говорил, ладно. А то же кругом только и слышно, что Германия будет воевать с Советами... Без конца. Ты не бываешь нигде, не слышишь. А тут шепчутся кругом, да и открыто говорят: «Война, война...»

— Болтают те, кому Советы не по душе. Распускают панику.

— Кабы только те. Вон у Ткачуков зять приехал из-под Бреста, рассказывает, как там на границе...

Даша говорила, не скрывая тревогу.

Для лейтенанта Култаева слова жены не были столь уж неожиданными. Слухи о возможности столкновения с немецкими войсками ходили и среди комсостава. Но Култаев не стал сейчас об этом говорить, да и не имел права, и возразил жене решительно:

— Побудешь тут возле вас, страху наберешься. Да что это мы? Перед отъездом-то. Ну и тему выбрали для беседы на прощанье. Давайте лучше допьем бутылку, а то ведь и не распробовали. — Он налил себе, долил Рите в стакан и, посмотрев прозрачную жидкость на свет, поспешил перевести разговор на другую тему.

— Пусть эскулап расскажет про лагерную жизнь: как лесным воздухом дышится, как комарье ими кормится?

Они просидели за ужином еще с полчаса, оживленно беседуя. Но вот Култаев как бы невзначай глянул на часы, и Даша это заметила.

— Ты куда-то торопишься?

— Орлик стоит.

— Почему ты не оставил его в части? Ты разве не на-совсем домой?

Култаев в замешательстве отвел взгляд: предстояло самое трудное.

— Извини, Дашок. Но, понимаешь, так получается... — он, как бы стараясь предупредить реакцию на свои слова, виновато тронул руку жены, переставлявшей тарелки. — Я должен ехать...

— Куда?

— Вызывает командир части. В лагеря.

— На ночь глядя?

— Срочно. Вызывали днем, но меня не было. Теперь надо ехать.

— Значит, ты меня не проводишь? — упавшим голосом сказала Даша, и подбородок ее опять дрогнул. С трудом сдержала она себя, закусив губы.

— Я обо всем договорился. Тебя отвезут. Все будет в порядке.

— В порядке... Боевая подруга, терпи, — Даша заставила себя улыбнуться. — Так и умирать буду одна, без мужа, из-за его службы.

— До смерти нам далеко. И потом, к тому времени я рассчитываю дослужиться до генерала. А генералы не ездят по вызову, а сами вызывают к себе, — возразил Кул-

тасв, немного повеселев. Тягостное объяснение, которого он боялся, теперь уже было позади. Он встал из-за стола, одернул гимнастерку.

— Ну, оставайтесь тут, вино допейте, чтобы не оставалось зла. Я поехал.

— Надень плащ, Гриша. Ехать ночью сыро,— сказала Даша с привычной уже озабоченностью и, извинившись перед подругой, вышла проводить мужа. Они задержались на низеньком крылечке, увитом мохнатыми гирляндами плюща, со света плохо различая друг друга.

— Темно как,— пожаловалась Даша. — Ты осторожней, пожалуйста. Орлик споткнется, разве долго? Пустишь вскачь...

— Все будет хорошо. Не беспокойся. Орлик умаялся, очень-то не разбежится. Иди!..— Култаев, шурша прорезиненным плащом, обнял жену. Даша припала к плечу и всхлипнула.

— К чему ты? — встревоженно, с укором сказал Култаев. — Совсем раскисла. Можно подумать, бог знает на сколько расстанемся. Я же приеду скоро. Возьму отпуск в начале сентября, договорюсь с начальником штаба. В отцы готовлюсь как-никак. Должен пойти навстречу. Оглянуться не успеешь, как прикачу. Что там, два месяца каких-то.

— Гриша, ну как я одна ни с того ни с сего заявлюсь к вашим в дом? Обузой с ребенком буду.

— Еще не лучше, обузой. Придумает же. Ты моя жена, тебя ждут. На вокзале встретят. Телеграмму я дал. Все будет как надо. Зачем ты зря переживаешь? Да мои старики к тебе со всей душой... Вот увидишь.

— Ладно, не буду больше. Ступай. — Даша в темноте целовко чмокнула мужа в щеку, совсем как в первые дни замужества, когда не успела привыкнуть к его суровому виду, к его вечной занятости по службе. Да она и теперь не совсем еще привыкла. Сколько раз за полтора года провожала его вот так, второпях, обязательно не успевая что-то сказать, что-то сделать нужное. И видит его урывками. Все время он спешит, занят и днем и ночью. Сколько раз просыпалась утром и не заставляла его рядом: встал чуть свет, поднятый по тревоге или по срочному вызову, ушел, постаравшись не разбудить ее, не потревожить. И после этого жди его, забежит усталый, в пыли, и то на минуту, на ходу кинет: «Терпи, Дашок, на то ты и боевая подруга. Служба. И хорошее и плохое — пополам».

И все-таки, почему-то так трудно отпускать его от себя каждый раз, а сейчас вот особенно.

— Ступай! — повторила Даша.

— А ты дальше не ходи, оступишься в темноте, — сказал Култаев и легко прыгнул с каменной ступеньки, твердым шагом направился к калитке, обходя расплывавшиеся в сумраке цветочные клумбы.

Истомившийся на привязи жеребчик встретил его нетерпеливым позвякиванием уздечки, толкнулся горячими губами в грудь.

— Не обижайся, Орлик — хозяюку провожал, — ласково сказал Култаев и, нашарив в кармане кусочек сахара, прихваченный со стола, сунул коню. Проверил подпругу, забрал в руку поводья и, вдвев носок сапога в стремя, чуть коснувшись рукой луки, на ходу, по-кавалерийски легко кинул свое сухощавое тело в седло. За углом он придержал жеребчика, взявшего с места в карьер, подобрал полы плаща и, подумав, свернул в противоположную сторону. Он решил, перед тем как отправиться в лагеря, проверить караул.

А Даша стояла на крылечке, ловила удалявшийся перестук копыт. На тихой окраинной улице звуки разносились далеко. Вечерняя тишина казалась ей странной: не очень ведь поздно, а как будто все уже спят. Вот звякнула где-то створка окна, тот, кто ее закрывал, наверное, старался не шуметь, а звук получился таким громким. А вот как будто самолет летит ближе и ближе. Майский жук с размаху ударился Даше в плечо, заставив ее вздрогнуть от неожиданности, загудел сердито, забился в шершавых листьях плюща и смолк.

Даша напрягала слух. Жук оборвал свою басовитую ноту, и опять донеслось цоканье копыт, совсем уже издалека. Наконец оно утихло. Уехал.

«Ну, ничего. Не надолго. Пусть, — переборов опять накатившееся чувство страха, про себя подумала Даша. — Скоро нас будет трое. И сразу станет веселее. А кто будет? Гриша требует сына во что бы то ни стало. Чудак. А скоро, совсем скоро. — Даша с улыбкой тронула живот, выступавший из-под широкого, специально сшитого халатика и вдруг ойкнула испуганно от толчка изнутри, сильного и властного. С ней еще такого не было. От волнения, наверное. Советовал же ей врач не волноваться. И вот, теперь...»

Даша почувствовала, как ноги у нее наполнились какой-то ватной слабостью, качнулась перед глазами далекая-далекая звездочка, льдисто проглядывавшая сквозь завесу плюща. Даша старалась не упасть, беспомощно хваталась за перила крылечка, влажные и холодноватые от ранней росы.

— Дашенька, ты что тут стоишь? Что с тобой? — слышался встревоженный голос подруги над самым ухом. Ее руки подросли так вовремя. Даша провела ладонью по лицу.

— Голова закружилась.

— Так, может, тебе лечь? Я помогу.

— Не надо. Спасибо. Все уже прошло. Я постою. Что это со мною, сама не знаю, — непослушными руками Даша ловила развязавшийся поясok халата.

— Зато я знаю, — рассмеялась Рита, все еще придерживая подругу. — На медицинском языке это называется отклонением в процессе беременности.

— Нет, я себя не узнаю, честное слово. Гриша прав. раскисла совсем. Раньше я ни за что бы не заплакала.

— Слезы к счастью.

— Ох, счастье наше... В ожидании оно да в тревоге. И всегда-то переживаешь, всегда сердце болит. — Даша совсем уже оправилась от головокружения, повернулась к подруге. — Неужели и ты себе мужа такого выберешь, что ни днем его, ни ночью дома не увидишь? Не выходи замуж за военного, Риточка.

— За кого же мне выходить, если я сама военная? Придется.

— Намаешься. Попадется такой бездомный, как мой. Он готов и ночевать в своем взводе. Во сне и наяву — служба.

— Выбирать буду, — пообещала Рита, — время есть.

— Выбираем мы, говорим только, — Даша усмехнулась. — Если бы это от себя только зависело. Думаешь, рассчитываешь, а оно само придет и нехватишься. Думала ли я, что буду «боевой подругой» Култаева? Мечтала про летчиков, танкистов знаменитых, про таких непременно, о которых в газетах пишут. А попался пехотинец, и не геройства у него особенного, ни красоты. И даже ростом от горшка три вершка. А как познакомились... Ведь, можно сказать, с глупости началось. Я на фабрике работала, а часть была рядом, и они были нашими шефами, приходили на вечера, на танцы. И вот решила я, на спор, по-

и вот уже ночь, теплая, тихая. В приоткрытую дверь и в окна, загороженные изнутри деревянными ставнями, сочатся ее запахи и звуки: голоса перепелов, замирающий стрекот цикад и легкое позванивание проволоки. Это бегают на цепи по блоку караульные собаки, привязанные за оградой. Кажется, что нет стен, нет потолка, и только свет электрических лампочек мешает видеть звезды и узкую зеленоватую каемку неба над лесом — все, что осталось от дотлевающего заката.

В караульном помещении по-ночному тихо. На кухне Экштейн моет посуду. Бодрствующая смена — Ольховский и Пряхин — играют в шашки. Фанерная доска пристроена на краешке топчана, и оба игрока горбятся над ней в неловких позах. Временами они вполголоса спорят. Ольховский проигрывает, и поэтому особенно горячится.

— Спешись, старина. Дай подумать. Чего ты хочешь сразу?

— Не зевай, Фомка, на то ярмарка. Беру пешку за фук, — спокойно посмеивается в ответ Пряхин.

Феоктистов, придвинувшись почти вплотную к лампочке, стоя читает, шелестит страницами. Караульные первой смены спят. Изредка в тишине всплескивается густой храп. Это Адамович. Он и во сне, кажется, нарочно, напоминает о себе. Кто знает, какой бы силы достигли его сонные трели, если бы не Ольховский. Он сидит на топчане, в ногах у Адамовича, и при каждом всхрапывании отрывается от игры и легонько его подталкивает.

Тихо в караульном помещении, спокойно. Трубин обошел посты, постоял под звездным небом, послушал ночные мирные звуки и, вернувшись, готовился за столом писать. Достал ручку, заглянул в чернильницу, проверяя, достаточно ли чернил, поправил настольное стекло. Делал все не спеша. Из всей суточной караульной вахты эти первые почные часы ему всегда казались наиболее легкими, даже по-своему нравились. Под утро одолевала дремота, днем много хлопот с проверкой допусков, а с вечера спать не хотелось, и никто не мешал: проверь посты и пиши, читай, думай.

Андрей мысленно наметил для себя порядок. Сегодня он, конечно, «добьет» начатую книгу о создателях паровых турбин, из серии «Жизнь замечательных людей». Но сначала ему хотелось закончить стихотворение о цветке, брошенном неизвестно кем в окно казармы. Куда вот только он засунул листок?

Андрей поднял руку к карману гимнастерки и нащупал там фотокарточку. Собственно, он ни на минуту не переставал ощущать ее на груди. Сейчас он подумал, что фотография в кармане может измяться, и бережно ее извлек, взглянул на девушку.

Достав записную книжечку, Андрей вложил фотографию между чистыми листами и перелистал страницы с дневниковыми записями. Ему показалось, что писал он в этой книжечке давно, в какое-то совсем далекое, другое, гораздо лучшее, чем сейчас, время, которому уже нет возврата. В действительности было это совсем недавно. Он даже помнил, что перо, которым он тогда писал, было испачкано красной тушью.

Тогда они с Васей Коржовым оформляли стенгазету. Часть была в зимнем лагере, с ночевкой в лесу, а их отпустили заканчивать новогодний номер. Тогда он и внес эти записи.

« 29 декабря.

За окном снег. Падают и падают крупные хлопья, как будто с вышины кто-то сбрасывает рваную бумагу. Если смотреть не отрываясь, от бесконечного мелькания снежинок кружится голова. Весь день снегопад. Двор укутан пушистым снежным одеялом, на столбах, на крышах — белые казачьи папахи. Уже вечер, а в ленинской комнате, где мы втроем (Вася, я и младший политрук Синицкий) трудимся над стенгазетой, светло от белого сияния на улице. Обязанности между нами распределены так: Синицкий отбирает заметки, он же редактор, Вася рисует, а я заведую литературной частью и сочиняю стихотворные надписи к дружеским шаржам, заголовки и эпиграммы. Десятка полтора четверостиший сколотил. Стенгазета большая, праздничная. Синицкий хочет сделать ее броской и «настраивающей», как он выразился, то есть создающей праздничное настроение. Он все подбрасывает и подбирает мне темы.

Но сейчас у него заминка, и я свободен. Удивительно легко складывается сегодня рифма. Конечно, произведения из-под моего пера выходят не ахти какие: спешка, заказ, да и жить им недолго. Но поэтический «удар» все же есть. И, кажется, причину этого своего вдохновения я знаю. Странно, может быть, но это оттого, что я встретил девушку и весь день под впечатлением этой встречи в состоянии окрыленности.

А произошло все так. Мы с Васей возвращались в часть из зимнего лагеря. И уже перед самым въездом в город встретили двух лыжниц. Одна из них — Даша Култаева, жена лейтенанта, нашего командира взвода, вторая — незнакомая. Обе в лыжных костюмах и в одинаковых вязаных пуховых шапочках с помпонами. У Даши что-то не ладилось с креплениями. Она стояла, дыша на озябшие покрасневшие пальцы, а подруга опустилась на колени, возилась с ремнями. Даша, увидев нас, обрадовалась:

— Андрюша, помоги!

С Дашей мы знакомы по самодеятельности. Она танцует цыганские танцы. И я даже влюблен в нее чуть-чуть, впрочем, чисто платонически. Знала она и Васю, как почти и всех других в караульном взводе. Но обратилась именно ко мне. Я с готовностью подсел к подруге Даши, сказал:

— Ну-ка, разрешите,— и точно наткнулся на что-то с размаху, встретившись с ее взглядом. Нет, глаза ее не были жгуче черными, как у Даши, не были карими, не были голубыми; просто глаза. Я даже не разглядел, какого они цвета. Но они были близко, и в них было столько живых искорок... И я растерялся.

Незнакомка отодвинулась, уступая мне место, а я держал в руках застывшие ремни креплений и с минуту сам не понимал, что делаю, только чувствовал на себе ее взгляд, прищуренный, слегка насмешливый. Наконец я овладел собой, затянул ремни на мокром ботинке Даши, и мне захотелось как-нибудь компенсировать свою растерянность.

— Ну вот,— поднявшись с колен, сказал я, обращаясь к Даше,— все в порядке. Можете продолжать прогулку с полной уверенностью, что больше ничего не случится. Но за это вы должны помочь мне узнать имя вашей спутницы.

Даша рассмеялась в ответ:

— Пусть сама скажет,— и заговорщический взгляд на подругу.

— Что же, помогите вы,— шутливо поклонился я девушке.

— А это обязательно?

— Желательно

— В таком случае меня зовут Вита,— с усмешкой сказала девушка и ловко, по-спортсменски, оттолкнулась палками.

Я не поверил, конечно. Вита — это жизнь. Латынь все-таки не совсем забыл. Не может же быть у девушки такое

имя. Значит, обманула. В сущности, она права. С какой стати докладывать о себе первому встречному. А потом через Дашу не так уж трудно узнать ее настоящее имя. Откуда она и кто? Не из местных — это определенно. Возможно, как и Даша, жена кого-нибудь из средних командиров? Но почему употребила латынь?

Впрочем, на этом ставлю точку.

Совет Синицкий. Муза, к бою!

1 января.

Вот и наступил новый 1941 год! Каким-то он будет? Что принесет мне? А пока... Что же отметить пока?

Прежде всего — это сегодняшний праздничный обед. С нами вместе сидели в столовой командир, в том числе и командир части. А жены комсостава — представить такое — подавали на стол! Звучали женские голоса, мелькали белые блузки. Первый раз за полтора года я почувствовал себя в почти уже забытой домашней обстановке. На час я перенесся в другой мир!

И сегодня же было вот что. Мы с Васей опоздали в кино, спешили в клуб и на крылечке чуть не столкнулись (вот она, счастливая случайность!) с Витой. Я ее не узнал: шинель с комсоставским ремнем, шапка-ушанка, и на зеленых петлицах по два кубика. Сгоряча я козырнул, как положено перед своим командиром, и успел уже взяться за дверь (бежали мы через плац в одних гимнастерках), но Вася удержал меня за рукав.

— Знаешь, кто это? — сказал шепотом.

— Кто? — переспросил я тоже тихо, хотя и сам уже почти догадался.

— Вспомни лыжницу. Она. Хочешь убедиться? — и громко к ней. — Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

Она успела спуститься с крылечка, повернулась к нам.

— Разрешите узнать время, — Вася козырнул, явно спрашивая первое, что пришло на ум. Время мы знали, оттого и торопились...

— Пожалуйста, — девушка вскинула руку с часами. — Пять минут восьмого. И не лейтенант, а военфельдшер второго ранга. Ясно? — заметила она официально и, приложив ладонь к шапке, пошла к воротам.

— И ведь не подала виду, что знакомы, — сказал Вася не то с удивлением, не то с упреком: он мог иногда, хотя

и очень редко, казаться непонятливым. — Да ты что, остолбенел, что ли? Двинули. Опаздываем.

Я и в самом деле остолбенел. В предпраздничной суете я почти не думал об этой странной своей знакомой, назвавшейся латинским именем. И вот встретился. И как! Военфельдшер! С кубиками. У меня отпало желание заходить в клуб. Хотелось вернуться в казарму, побыть одному, разобраться с мыслями. Я бы, наверное, так и сделал, но Вася потянул меня за собой.

— Идем, замерзнешь.

14 января. Караульное помещение.

Фамилия ее Масюк. Звать Рита. Я узнал об этом уже не со слов Даши, а прочитал в допуске. Она приходила сюда сегодня с лейтенантом Култаевым проверять санитарное состояние караульного помещения. Я первый раз встретил ее после того новогоднего вечера, когда Вася Коржов перед входом в клуб спрашивал у нее время. А показалось, что это продолжение той встречи. Я так же растерялся, и в точности так же беспричинно зануло у меня сердце. Столько готовился к встрече, думал над каждым словом возможного разговора, а тут в один миг все забыл, слова разлетелись, как испугнутые воробьи. Стукни меня в этот миг по голове, наверное, голова зазвенела бы, до того была пустой. Я принял чересчур официальный вид, отковырял ей и, взяв у нее допуск и удостоверение, долго держал в руках, плохо видя, что в них написано. Не знаю, сколько бы я простоял в этой напускной невозмутимости, если бы не лейтенант Култаев, выручивший меня.

— Показывай свои владения, — сказал он, — доктор строгий, время терять не любит.

И я стал показывать. Проверяющая заглядывала в каждый уголок, в каждую щелку, выискивая пыль, что-то записывала, так что под конец осмотра чувство растерянности во мне сменилось откровенной досадой. Когда, высказав замечания, Рита вышла из караульного помещения и, ступив на дорожку, поскользнулась, я подумал с невольной мстительностью: «Так тебе и надо».

— Товарищ военфельдшер, а вы дорожку проверять не будете? А то бы проверили заодно на предмет чистоты, — сказал я, не скрывая своего желания уколоть ее.

Она посмотрела на меня как-то снизу вверх и усмехнулась уголками губ. Улыбка, которая запомнилась мне еще с той первой встречи в лесу.

— Зря иронизируете, старший сержант. Дорожку я еще проверю. А пока рекомендую посыпать песком.

— Для чего?

— А чтобы не падать.

— Сами мы не падаем, а гостей как-нибудь поддержим,— с этими словами я сделал жест, намереваясь показать, как выглядела бы эта поддержка на практике, и — о ужас и позор! — поскользнувшись, упал. Да какое там упал, не то слово. Растянулся поперек тропки, едва не свалив спутницу. У меня до сих пор горит жаром лицо от стыда и досады за свою неуклюжесть. Можно представить, как я глупо выглядел, лежа на спине на обледенелой дорожке, наказанный за свою невольную мстительность. Кроме того, мне показалось, что, падая, я задел плечом Риту, поэтому, несмотря на всю свою неловкость, я первым делом глянул на нее, опасаясь, не сильно ли толкнул.

Нет, она не засмеялась при моем падении, но искорки в глазах у нее заплясали.

— Вы не ушиблись, старший сержант Андрей Трубин? В медицинской помощи не нуждаетесь? — спросила она меня с участием. Я не успел ответить. Подошел лейтенант Култаев, и наш разговор оборвался. Они ушли. В ушах у меня и сейчас звучат ее слова: «Андрей Трубин». Знает мое имя. Факт этот сам по себе не так уж много значит. Но все равно приятно...»

Андрей, хмурясь, пробросил сразу страничек двадцать дневника. Хотел закрыть его совсем, но потом против своей воли склонился опять над записями.

«2 марта.

Уже весна. Меня восхищает ее волшебство. Вчера еще на обочине дороги желтела безжизненно косматая прошлогодняя травка, похожая на старую рогожу, а сегодня уже брызнула зелень и появились первые подснежники. Они точно такие же, как и у нас в Северном Казахстане: синие, белые, кремовые. Только там, в степи, их гораздо больше. Подснежников — целые поляны. Цветы эти меня всегда волновали тем, что они самые первые. А теперь волнуют особенно. И я знаю отчего. Я влюблен. Это точно, как дважды два И вот доказательства. Раньше я проходил мимо санчасти и ничего особенного не испытывал. А теперь при одном взгляде на белые занавески на окнах санчасти у меня замирает сердце — ведь там Рита! Я зави-

дую Васе. Он уложен туда на целую неделю. У него что-то с желудком. Подумать только, на неделю! И я самым настоящим образом жалею, что абсолютно здоров. Вообще в последнее время я чертовски глупо себя веду.

Сколько ни заставлял себя поговорить с ней, а встречаюсь и немею, как рыба. Начинаю хмуриться, напускать на себя печоринскую хладность. И попросту выдаю себя с головой. Не помню, кто-то сказал: «Нет ничего проще, чем определить влюбленного человека, который старается свою любовь скрыть». Как это верно. Я кажусь порой самому себе прозрачным, как стекло, через которое видно все. И, конечно же, ей. Я думаю о ней, пишу ей стихи, оставляя их, разумеется, у себя, изредка случайно встречаюсь. А дальше? Не стану же я объясняться ей в чувствах в караульном помещении или в санчасти. А больше и негде. Рита живет на квартире вместе с Култаевыми и может в свободное время пойти куда угодно. Комсостав... А я? Больно от мысли, что она где-то бывает, с кем-то встречается...

В мои сердечные дела, разумеется, не так уж глубоко, посвящен один Вася. И, как ни странно, он относится ко мне сочувственно, не издевается и даже не машет по привычке рукой, а наоборот, подбивает к более решительным действиям. Сейчас сообщил, что Рита придет по каким-то надобностям на склад, будет и в караульном помещении. Нарву подснежников и отдам ей.

4 марта.

Букет Рите не отдал: она не пришла. Оказывается, уехала в командировку. Куда и зачем — неизвестно. Настроение мрачное.

20 марта.

День приятных новостей. Первое — Рита вернулась! Прошли мои страхи. Я так боялся, что она исчезла совсем. Как я невыразимо обрадовался, увидев ее на улице. Вел отделение со стрельбища, и вдруг она навстречу. Я задержался с ней, поздравил с приездом, а потом догонял строй как на крыльях. Мой земляк Ташаубаев заметил: «Товарищ старший сержант, вы хитрый. Какой девушка замечательный выбирал», — и при этом расплылся в широченной улыбке. Что он имел в виду под этим — «выбирал»? А Рита

немного обрадовалась, когда я с ней задержался, или это мне померещилось от чрезмерного волнения.

Вторая новость. Оказывается, она замечательно поет и будет участвовать в художественной самодеятельности. Об этом говорил младший политрук Синицкий. Что это даст мне? Возможность лишний раз видеть ее — первое. И второе — может быть, наконец поговорить?

10 апреля. Ночь.

Вернулся с праздничного концерта. В голове все перемешалось, не хочется спать. И радостно и тяжело. Концерт был шефский, для рабочих местного кирпичного завода. Я читал стихи, Рита пела украинские песни. Голос у нее чудный. За кулисами я ее видел мельком, а так хотелось подойти к ней, заговорить, я же для нее написал и ей посвятил стихотворение, которому особенно аплодировали в зале.

В перерыве перед танцами я расстроено поклонялся по коридору, без особой нужды заглянул в пустую читальню и в это время, к радости своей, увидел здесь Риту. Она стояла лицом к окну и, глядя в темноту (на улице шумел дождь), задумчиво перебирала ленты, спадавшие на плечи. До чего же ей шел костюм украинки, эта белая расшитая кофточка, эти цветные сапожки, ленты и монисты вокруг шеи. Я готов был целую вечность смотреть на ее задумчивый профиль, на пальцы, трогавшие блестящий шелк разноцветных лент, на пшеничные косы, собранные венком.

Но Рита, заслышав мои шаги, повернулась и, как мне показалось, усмехнулась не без иронии.

— А, сержант Андрей Трубин. Вы хотите мне что-нибудь сказать?

Я так ее любил в этот момент, что готов был крикнуть об этом. Но я не закричал, а произнес вполголоса, потому что в горле у меня вдруг пересохло.

— Вы хорошо пели, Рита, — я впервые назвал ее по имени. — И знаете, на кого похожи?

— На кого? — спросила она с любопытством.

— На Оксану Петрусенко. Я ее видел в кино, в опере «Наталка-полтавка».

— В чем же мое сходство?

— Голос. И вообще... — я чуть не сказал: «красота», но удержался. Рита рассмеялась:

— Ну, уж если пошли комплименты, то должно быть взаимно. А вы читали стихи как настоящий поэт.

— Поэт-красноармеец,— подсказал я.

В зале грянул духовой оркестр. Рита спохватилась.

— Надо идти,— сказала она, посмотрев на меня, как будто с некоторым сожалением.

— А вы не переодевайтесь,— вырвалось у меня. — Не надо!

— Почему?

— Вам так лучше,— сказал я. — Вы такая в этом наряде, такая...— «красивая» хотел я добавить, но в коридоре послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась.

— Рита, вы что же? Я вас ишу.

На пороге вырос лейтенант Киян, командир минометной роты, высокий, грузный, перетянутый ремнями, с новенькими петлицами, сиявшими золотой окантовкой. Поскрипывая щегольскими хромовыми сапогами, он прошагал через комнату и смело, как имеющий на то право, взял Риту за руку.

— Идемте.

На меня он — ноль внимания, будто и не заметил. Но субординация есть субординация, и я подтянулся. Зато Рита на меня снова посмотрела, даже улыбнулась смущенно, как мне показалось.

— Пошли?

Это адресовалось ко мне. Она даже слегка за рукав меня тронула, как бы приглашая с собой. Но я промолчал и не двинулся с места. Они вышли. Дверь читальни хлопнула, и это прозвучало ударом судьбы. Кубики и треугольники. Геометрия, какое, однако, ты имеешь значение в жизни! Вот когда я с настоящим нетерпением подумал об училище. Скорее бы ответ!»

Несколько следующих записей Андрей снова пропустил. Прошлые огорчения бередили ему душу. Хотелось восстановить в памяти что-нибудь хорошее из того, что было. Хотя было ли оно?

«3 мая.

Говорят, если день начнется плохо, то так же и кончится. Я убедился в обратном. Сегодня с самого утра неприятности. Во-первых, с подъемом мое отделение запоздало. Не знаю, что случилось, но Василия Тимошенко старшине

пришлось будить самому, когда все уже выстроились на физзарядку. Потом в казарму вдруг нагрянул начальник штаба части, и дневальный Ташаубаев не смог доложить ему по форме: назвал его не майором, а лейтенантом. В общем провал полный. Старшина начал меня точить, и я с ним поругался. И в довершение — в сегодняшней почте для меня ничего. Пишут...

Расстроенный, я отпросился в магазин за красками для стенгазеты, хотя краски были. Просто хотелось побродить по улицам, рассеять плохое настроение.

Местечко удивительное. В нем на каждом шагу следы бывшего хозяйничания панов. Кирпичный завод — панский, мельница — панская, сад с самым большим домом, где сейчас школа, — бывшее поместье пана, и даже костел, уткнувшийся в небо колокольню, построен когда-то по приказанию местного пана. В нем и сейчас полно богомольцев. Днем они сидят с книжечками на скамейках, слушают ксендза. Старый мир лишь отступил, потеснился, но уходить не собирается.

А сколько здесь тополей! Тут они всюду: в школьном саду, на улицах, по берегам реки. Сейчас пора цветения. Белый пух кружит в воздухе, ложится на землю, и кажется, что это снег. Даже вода в речке усеяна пушинками, которые уплывают неведомо куда.

Я долго стоял над обрывом, глядя на заречные дали, где низко висело солнце, будто упиралось лучами в землю. Засмотрелся, задумался и не сразу заметил, что не один здесь. Неподалеку на врытой в землю старой каменной скамейке сидела Рита. Первый раз за все время я встретил ее одну и в таком уединенном месте.

Грусти, владевшей мной, как не бывало. Сердце застучало от радости. Повезло! Я весь день ломал голову, как ее увидеть. Хотел даже — была не была — заявиться в санчасть. Надо было спешить: все собирались в летние лагеря и она тоже. И вот фортуна сжалилась надо мной.

Я поборол свою застенчивость и, как мне кажется, довольно свободно подошел к Рите, подсел рядом на скамейку.

— Красиво, правда? — спросила она, не отрывая взгляда от далекого горизонта за рекой, — но я люблю утро, потому что восход — начало нового, от которого ждешь что-то хорошее.

Я сказал, что тоже люблю. «А больше всего тебя люблю», — добавил про себя...

— Почему вас не видно, старший сержант, вы чем-то заняты? — спросила Рита.

— Служба.

— А я вот прощаюсь со всем этим. — Она повела рукой вокруг. — Завтра в лагеря. А там, говорят, и речки нет.

«Зато лейтенант Киян будет рядом», — подумал я и нахмурился. Она это заметила.

— Какой вы суровый сегодня. Это вам не идет, — сказала Рита и искоса посмотрела на меня.

— Настроение плохое.

— Без причины?

— Ждал письма, — попытался я пошутить, — а письма нет...

— От кого же вы с таким нетерпением ждете письма? Это не военная тайна?

— Нет.

— От девушки?

— Из дому.

— А от девушки?

— Девушки у меня нет. По крайней мере, там.

— А где же есть?

— Нигде.

— Это любопытно, — Рита повернулась ко мне, в прищуренных ее глазах промелькнул неподдельный интерес. — Вы замкнутый человек, Андрей, — сказала она, чуть отведя взгляд, — а такие девушкам не нравятся.

— Какие же нравятся?

— Незамкнутые.

— И вам тоже? — спросил я.

— Ну, этого я не скажу, — она отвернулась, словно потеряв интерес к разговору, и опустила ресницы. — Прочтите лучше свои стихи.

«И не надо, — подумал я. — Сам знаю. Замкнутые не нравятся, вот лейтенант Киян не замкнутый. Все ясно». Я с подчеркнутой готовностью продекламировал:

Прощай, увидимся ли вновь?

Увы, надежды нет.

Прости и знай, моя любовь —

Последний мой завет.

Я нарочно выбрал это четверостишие. Так было лучше. Оно выражало мои чувства и было некрасовским. Но Рита не помнила их, да, кажется, и не слушала. Она рассеянно смотрела вниз, под обрыв, где на песке возле воды вози-

лись ребятишки и женщины на деревянных мостках поло-
скали белье. Потом вдруг спросила, есть ли у меня отец
и мать и где они живут. Я сказал, не понимая, к чему
ей это.

— Вы счастливый,— сказал Рита.

— В чем?

— Счастливый,— повторила она. — Хотите докажу? —
и, не дожидаясь согласия, взяла мою руку, с улыбкой
посмотрела на ладонь. — Об этом свидетельствуют изви-
лины на ладони, их расположение.

Пальцем она слегка коснулась моей ладони. Волосы
ее, выбившиеся из-под пилотки, были совсем близко и
пахли дождем. Да, летним дождем. Все было как во сне —
и наш разговор, прикосновение ее пальцев, ее дыхание.

Она шутила, говорила, что наполовину цыганка, умеет
гадать и предсказывать судьбу, а я не мог выговорить ни
слова.

Как легко было обнять ее за плечи, привлечь к себе,
но я не решился...»

Резкое в тишине дребезжание звонка под потолком
комнаты заставило Трубина, увлеченного своими запися-
ми, вздрогнуть: начальника караула вызывали к воротам.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Темнота словно набросила на глаза повязку. Андрей
остановился на пороге, чтобы привыкнуть к ней.

Было тепло и безветренно. С далеких болот доносилось
чуть слышное кваканье лягушек. Пахло росой и дымком,
как возле костра в ночном.

Глубокая ночь почему-то всегда связывалась у Андрея
с представлением о границе. Это осталось с детства. Крас-
ноармеец в дозоре; овчарка; настороженная, полная опас-
ности тишина, за которой в сумраке затаился нарушитель-
диверсант. В пограничников играли мальчишки. Граница,
с ее суровой таинственностью и романтикой, грезилась
каждому из них.

И он, Трубин, мечтал о зеленой фуражке и на призыв-
ной комиссии, которая работала прямо в институте, попро-
сил направить в погранвойска. Просьбу его пообещали
удовлетворить, но началась война с белофиннами, и все

— Погодите, — недовольно прервал Трубин. — Кого задержали? Давайте толком.

— Фаня задерживал. Фотограф который.

— Фаню? Где и каким образом?

— Близко тут гулял. Вон там, — Ташаубаев, чуть успокоившись, кивнул через поляну, на неразличимую опушку леса.

— Одна?

— Сначала одна. Мы ее останавливал. Говорим: посторонним ходить нельзя. Она говорит: «Дорога путал мал-мал, извиняюсь». Потом другой подходил. В стороне стоял, молчал, а когда я сказал, что будем начальника караула вызывать — подошел.

— Кто подошел?

— Не знаю. Темно. Как разглядишь? Видел только командир. Петлица видел. Два шпала. Ремень звездой видел. Говорит, азимут ошибался, брал не какой нужно. «Когда девушка рядом, все, говорит, ошибка допускают».

— Так это, наверное, муж Фани, летчик.

— Муж зачем так далеко из дому гуляет? — возразил Ташаубаев. — И муж один пойдет с женой. А он не один. Я слышал: за сосной кто-то еще другой стоял. Может, два мужа. А?

— Наговорит, теперь слушай его, — усмехнулся Клевакин. — В глазах у человека двоится. Не хватает еще нам ночью считать, у кого сколько кавалеров.

— Зачем считать? Кто говорит? Спрашивать надо, зачем ходит, документ проверять.

— Ты не очень, — предостерегающе повысил голос Клевакин. — Знаешь. От старших командиров требовать документы никто нам не давал права. Наше дело склады охранять. А там без нас проверят как-нибудь, что нужно и у кого нужно.

— Значит, пусть тут ходит? Спрашивать не надо, проверять не надо? А что надо? Гости звать, да? Чай пить?

— Средний комсостав — это не «всякий», товарищ Ташаубаев. Сам же говоришь — две шпалы.

— Все равно начальник караула надо говорить. Так положено. Зачем отпускал?

— Когда вы их встретили? Время? — спросил Трубин, подняв к глазам руку с часами и напряженно вглядываясь в циферблат. Фаня и командир с двумя шпалами. Здесь, ночью? Во всем этом было что-то странное. Почему они,

в самом деле, так далеко забрели? И где же ее муж, тот грузин-капитан?

— Ладно,— сказал Андрей, выслушав объяснения,— продолжайте выполнять обязанности. Посторонних задерживать!

Дозорные отошли. Вскоре оба скрылись в темноте. Андрей с минуту стоял, прислушиваясь к удалявшемуся шороху шагов с чувством смутной тревоги. Потом закрыл ворота и направился было к караульному помещению. Но его словно что-то держало. Разговор с дозорными не выходил из головы. Фаня, два кавалера. И прячутся. Андрей остановился. Прислушался. Все было спокойно. В густой ночной тишине все так же позванивали цепями караульные собаки, как будто монеты перекатывали, пищали комары.

«И чего мне эта Фаня далась? Гуляет и пусть гуляет на здоровье, хоть с десятью кавалерами сразу»,— подумал Трубин, успокаиваясь и настраивая себя на то, чтобы пойти и сесть за письма.

Едва он устроился за столом, звонок задребезжал снова, залаяли собаки.

На этот раз к воротам пошел Кучкильдин и вернулся в сопровождении лейтенанта Култаева.

Появление командира взвода в столь неурочный час не очень удивило Андрея. Было уже привычно — лейтенант мог нагрянуть в любое время. В проверке несения караульной службы он не знал устали. Главное, с чем пришел? И Андрей, докладывая ему, старался предугадать, какая команда от него последует? Подымет ли он караул по тревоге или даст вводную одному начальнику караула.

Но лейтенант не спешил высказать свои намерения. Выслушав рапорт, он молча козырнул бодрствующей смене, вставшей при его появлении по команде «смирно», кивнул «вольно» и взял из пирамиды винтовку.

— 3370. Чья?

— Моя, товарищ лейтенант,— отозвался растерянно Феоктистов.

— Плохо протерта. Протереть! 2530?

— Красноармейца Пряхина,— привстал караульный.

— В хорошем состоянии,— одобрил Култаев.

Остальные винтовки он проверил тоже, делая замечания. Осмотрел ящик с патронами, заглянул в шкафчик, где была составлена посуда, потом потребовал постовую ведомость.

Караульные, хотя и была подана команда «вольно», стояли, выжидая поглядывая на командира взвода. Феоктистов усиленно тер куском ветоши затвор винтовки. Держался начеку и Андрей, готовый к любой неожиданности.

Лейтенант, окончив осмотр, расстегнул плащ и запросто подсел на топчан к играющим в шашки, чего прежде с ним никогда не было.

— Ну, что же вы?— кивнул он.— Продолжайте. Кто кого?

— Да мы разве игроки,— смущенно провел ладонью по обросшей шишकाстой голове Ольховский.— Турнир от нечего делать. В общем-то, старина притиснул меня крепко, не соображу, куда податься.

— А если так?— Култаев, стараясь не задеть пешки рукавом плаща, тронул одну. Смуглая рука лейтенанта была маленькой, почти женской, но все знали, что руки лейтенанта Култаева обладали достаточной силой, крепко держали кавалерийский клинок (службу лейтенант начал в кавполку) и еще крепче держались за перекладину турника. Лучше командира караульного взвода в части никто не умел «крутить солнце».

— А потом сюда,— Култаев снова двинул пешку.— И вот тебе прорыв окружения. Быстро падаешь духом.

— Да-а... А я ломаю голову. Теперь, старина, держись.

— Так, может, с вами и доиграем, товарищ лейтенант?— предложил, посмеиваясь в усы, Пряхин.

— Все. Подсказкам конец,— в подтверждение чуть приподнял руку Култаев.— Дальше Ольховскому думать самому. А вам задача, Пряхин: научить всех во взводе играть в шашки. Чтобы до отъезда домой успели.

— Домой,— качнул головой Пряхин.— До дому еще далеко, товарищ лейтенант.

— Недалеко. Нога как?

— Ничего, бегать можно.

— Ну так,— Култаев встал, сказал тоном приказа: Ольховскому завтра же подстричься!— и к Трубину:— Дальнейший распорядок, начальник караула?

— Через двадцать минут смена часовых. Прикажете построить наряд? Култаев глянул на часы.

— Не надо,— застегнул плащ, вскинул ладонь к козырьку фуражки.— Желаю успехов в несении службы!

Лейтенант направился к выходу. Возле Феоктистова остановился, придирчиво оглядел винтовку.

— Вот теперь подходяще. Не забывайте это делать без напоминаний. А чем вы заняты в свободное время, товарищ Феоктистов?

— Читаю, товарищ лейтенант.

— Покажите.

Култаев взял увесистый том с аккуратной бумажной вкладкой, посмотрел название книги.

— Что ж, вещь серьезная. Читайте. Но если услышу, что книги кладете в сумку противогаза,— получите взыскание. Старший сержант, проводите меня!

Они вышли вдвоем из караульного помещения. Андрей ждал, что командир взвода свернет на внутреннюю территорию, чтобы обойти посты. Но Култаев резко остановился возле курилки.

— Трубин, вам замечание. Внешний вид караульных. Ольховский оброс, разводящий не следит за состоянием оружия. Чтобы не было этого!

— Есть!

— На постах кто?

Андрей назвал караульных.

— Дозор выслан?

— Да.

Лейтенант захрустел плащом, достал папиросы, протянул начальнику караула открытую коробку, как бы в знак окончания официального разговора.

— Держи.

Андрей взял папиросу. Прошло то время, когда его возмущали и приводили в недоумение внезапные переходы в настроении лейтенанта. Сложной натурой казался ему командир взвода, и, как это часто бывает от непонимания, между ними на первых порах установились натянутые отношения. В Андрее еще не выветрилась студенческая независимость, и армейский строгий режим, олицетворением которого был лейтенант Култаев, вызывал у него чувство слепого противоречия.

Командир взвода угадал в нем сразу этот откровенный протест и, видно, потому на второй или на третий день после их знакомства придрался к какому-то пустяку и отчитал Андрея. Тот, в свою очередь, не сдержался, вступил в пререкания. И с этого пошло. Лейтенант Култаев не упускал возможности подметить у него малейший недостаток, а он отзывался на это неприязнью.

Перелом в их отношениях произошел странным образом. Андрей назло командиру взвода стал делать все так,

чтобы тот не смог ни к чему придраться, и в этом было для него своего рода удовольствие. А лейтенанту это и было нужно. Добившись своего, он оставил Андрея в покое. За это время Андрей успел убедиться, что Култаев не менее требователен и к другим командирам отделений, имея на это не только уставное, но и моральное право.

Трудно было не заметить, что лейтенант Култаев знает свое командирское дело отлично, душой предан военной службе. В этом смысле они со старшиной Барабановым стоили друг друга, даже и походили внешне: оба невысокого роста, подвижные, вездесущие. Было непонятно, когда лейтенант Култаев отдыхает, бывает дома. Ночь-полночь он в казарме, устраивает тревоги, проверяет караулы, проводит тактические занятия, стрельбы. И везде он первый, все умеет, все знает. Во время изнурительных многокилометровых маршей Култаев шагал впереди взвода с таким видом, словно и не уставал вовсе. И уж совершенно покорял всех, выбивая на стрельбище из любого положения по несколько десятков подряд, насаживая одну пулю на другую.

Антипатия к лейтенанту постепенно сменилась у Андрея чувством уважения. Трубин, сам того не замечая, стал подражать лейтенанту. И хотя не признавался себе в этом, но знал, что и на его решение поступить в училище определенное влияние оказал Култаев. Кроме главных побуждений, где-то в глубине души таилось стремление стать таким же командиром, как Култаев, походить на него.

На резко высказанные сейчас Култаевым замечания по караульной службе Андрей не обиделся. Во-первых, не столь уж серьезными они были, а потом, какое для него значение имеет теперь выговор лейтенанта? Наряд-то для него последний.

Култаев словно угадал его мысли.

— Значит, настроение чемоданное, Трубин? — спросил он, прикуривая. Розоватое пламя спички на миг осветило губы лейтенанта, державшие папиросу, и кончик носа: даже нос у него, тонкий с горбинкой, как бы подчеркивал требовательность характера.

— Приблизительно, — кивнул Андрей.

— Не в обиде, что назначили в наряд?

— Нет, нужно так нужно.

— Это тебе на прощанье, чтобы помнил караульный взвод.

— А я и так не забуду.

— Сообщи обязательно. А я вот к своим старикам жену отправил,— сказал Култаев и вздохнул.

— Дарья Ивановна уезжает?

— В декретный. Такая, брат, ситуация. Перехожу на положение соломенного вдовца, так сказать. Ты давай,— лейтенант дружески коснулся рукой плеча Андрея,— после наряда завтра заходи ко мне. Квартиру знаешь?

— Спасибо,— кивнул Андрей, несколько смущенный жестом, а еще больше приглашением командира взвода. В чем же все-таки дело? Никогда до этого лейтенант его к себе не приглашал.

— Забегай,— повторил Култаев.— Отъезд когда?

— Послезавтра, утром.

— Добро.

Култаев остановился, намереваясь сесть верхом, вдел ногу в стремя и одним махом легко бросил себя в седло. Склонившись, подобрал поводья, отвернул полы плаща и еще раз напомнил:

— Так, значит, договорились: сразу после наряда жду. А насчет того, что никто о тебе здесь не пожалеет, ты зря. Советую подумать.

Андрей козырнул:

— Есть!

Ничего другого ему не оставалось.

Лейтенант тронул коня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нигде, наверное, не бывает такой тишины, как в лесу, летом, в предрассветный час, и ни в какое другое время не ощущаешь так остро лесные запахи. Не надо напрягать зрение, всматриваться в темноту: по запахам можно определять местность. Терпкий настой хвои и грибная прель говорят, что к дороге вплотную подступили сосны. Потянет холодком и мокрой листвой, можно не сомневаться — впереди низина. А вот в лицо приятно пахнуло мятой и огуречным душком лабазника — это перед тобой травянистая поляна в белых брызгах ромашек.

Нет, невозможно было проскочить галопом эти невидимые рубежи лесных ароматов, не прислушаться, хоть на минуту, к царившему вокруг ночному безмолвию, и Култаев не устоял, пустил коня шагом.

Он родился и вырос в городе, на старой заводской окраине, где на солончаковой болотистой почве плохо приживалась зелень, и, может быть, поэтому, вопреки своей внешней суровости, был равнодушен к природе. Навряд ли кто, глядя на него со стороны где-нибудь на тактических занятиях со взводом или во время стрельб, мог подумать, что этот смуглолицый, загорелый, поглощенный целиком своими командирскими обязанностями служака-лейтенант использует малейшую возможность, чтобы поваляться на траве, посидеть на берегу заросшей кустами лесной речушки, а возвращаясь домой, прячет бережно в планшетку, между бумагами, сорванную незаметно для других кисточку ландыша, букетик дикой гвоздики или просто красивый листок для Даши.

Да, Даша... Култаев не заметил, как его снова захватили мысли о жене. Надо же случиться такому совпадению: ее отъезд и этот вызов в штаб части.

Он представил, как жена будет стоять на платформе перед вагоном и, держась за поручень, потерянно оглядываться вокруг, одинокая, готовая заплакать... Он совершенно не мог вообразить того, как завтра явится в опустевшую квартиру и как вообще будет жить там один, не видя Даши, не слыша ее голоса, ее шагов. Одно утешение, что все это только на два месяца. Но, шутка сказать,— два месяца! Шестьдесят дней! Скоротай их, попробуй.

Как бы для примера, лейтенант прикинул в уме, из чего сложится у него завтрашний, воскресный, день. С утра, если не задержат в лагерях, прямиком к летчикам, поболеть за свой взвод, потом инструктаж караула. На вечер он пригласил к себе старшего сержанта Трубина. С умыслом — чтобы тот мог встретиться с Ритой. Не грех раз в жизни взять на себя роль посредника.

Култаев, подняв руку, отвел от себя ветку. Оставшийся в пальцах жесткий лапчатый листок дуба поднес к губам, по давней ребячьей привычке надкусил. Во рту остался пресноватый привкус зелени.

Нет, долой уныние. С Дашей ничего не случится. Через шесть суток она будет на месте. Встречать ее на вокзал придут все. Мать, возможно, не поедет. Разведет на кухне стряпню, где уж тут! Там, наверное, сейчас готовятся всюю. Отец подмел двор, отремонтировал мостик перед воротами через канаву, где все лето держится ржавая болотная вода. Не хочет старик переселяться в новые заводские дома с удобствами, хотя и не один раз предлагали.

Привык к своей слободе. Кругом друзья по заводу. И все соседи знают о приезде к старикам невестки.

Култаев легко представил себе сцену встречи жены возле дома: бородатые, сивоусые друзья отца и Даша, маленькая, растерявшаяся от множества суровых незнакомых лиц. А старики чинно здороваются, скупое улыбаясь, гудят в бороды, протягивают ей ладони, все как одна жесткие, большие, черные от железа.

Захваченный мыслями, Култаев не успел наклониться: ветка упруго хлестнула его по плечу. И в тот же момент Орлик, бежавший спокойной ровной рысью, вдруг всхрапнул и дернулся в сторону, сделав два неловких прыжка, словно брал невидимый барьер.

Лейтенант едва не потерял равновесие и, рассерженный странным поведением жеребчика, всегда такого послушного, резко осадил его. И тут же почувствовал легкий рывок, как будто кто-то рванул назад стремя. Не ослабляя повода, склонился и почувствовал под рукой проволоку, конец которой упирался острием в его каблук.

Высвободив ногу, Култаев взгляделся и, различив в сумерках между ветвей белые чашечки изоляторов на столбе, понял, что проволока — оборванный телефонный провод. Он спиралью лежал на земле, загораживая дорогу. Орлик похрапывал, настороженно косился по сторонам.

Култаев послал его вперед. Но вернуться к прерванным мыслям уже не мог и невольно поглядывал на столбы, представлявшие между деревьев вдоль дороги. В лесу тихо, ветра нет, так почему же оборван провод?

В лицо пахнуло сыростью, запахом мха и мокрой ольхи. Речушка. Орлик резко остановился. Култаев в нетерпении дернул повод. Но жеребчик не подчинился, закусив удила, попятился, приседая на задние ноги. Недоумевая, Култаев перевел взгляд и изумленно присвистнул: Орлик, тревожно прядая ушами, стоял перед разобранным мостиком.

Уже чуть брезжило. В жидких предрассветных сумерках проступали тонкие, ошкуренные бревна настила, торчавшие вкривь и вкось, как дышла бричек. С досадой, не на шутку озабоченный лейтенант Култаев спешил и, ведя лошадь в поводу, приблизился к кромке моста. Настил был разворочен не весь, а через одно-два бревна, но как раз так, что на лошади ночью проехать нельзя.

Он еще стоял, соображая, где искать брода через эту топкую речушку, когда услышал позади себя шаги. Обернувшись, увидел человека. Тот вышел из-за деревьев, как

будто возник из сумрака, приподнял руку к козырьку фуражки.

— Здравствуйте, товарищ...— он, очевидно, разглядывал петлицы на комсоставском плаще Култаева и тут же добавил:— товарищ командир.

В темноте чуть блеснули и его знаки различия: две шпалы. Незнакомец был в мешковато сидевшей гимнастерке, с планшеткой через плечо. Пряжка парадного ремня со звездой съехала набок, и Култаев своим требовательным взглядом сразу подметил этот непорядок в заправке: «Интендант, небось, какой-то околачивается на дороге в эту пору, что-нибудь везет»,— решил он про себя, видя, как незнакомец неловко держит руку у козырька. И сам, с подчеркнутой четкостью, козырнул в ответ.

— Здравия желаю.

— Препятствие? Непредвиденная остановка?— сказал незнакомец, опуская руку.

— Да вот,— Култаев носком сапога тронул вывороченное бревно,— чертовщина какая-то.

— Да-да,— подхватил человек.— Кому-то взбрело в голову ремонтировать мост не вовремя. Начали и бросили. Безответственность. Торопитесь? Майор Устинов,— незнакомец протянул руку.— Пограничник. Еду в часть. У меня машина там,— он кивнул через речку,— с грузом. Ломаю голову. Положеньице... Военному терять время, сами знаете. Служба. Каждая минута на счету. Досадно, очень досадно...

«Машина там, а сам по эту сторону моста,— подумал Култаев, вглядываясь в лицо майора, затененное козырьком фуражки.— И стоял под деревьями, вроде прятался». В голове шевельнулось подозрение, но он подавил его и тоже сдержанно представился, назвав свою фамилию и звание.

— И вы, лейтенант, ночью путешествуете,— сказал майор сочувственно.— Я думал только одному мне пришлось сегодня не спать. Друзья по несчастью. Но служба — ничего не попишешь. Тем более наша. Граница... Сами понимаете. Не приходится считаться со временем: надо — значит надо. Приказано — выполняй. А иногда и приказ не нужен — сам видишь, что надо, и делаешь. Привычка. Это ведь не так просто: граница на замке. Кто бы знал, как трудно приходится тем, кто держит в руках ключ от этого замка. Не зря говорят про пограничников, что они люди особого склада, чекисты.

«Как будто убеждает, что он пограничник»,— подумал Култаев. И ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы скрыть смутное беспокойство.

— Да, у нас еще, к сожалению, частенько так бывает,— продолжал он озабоченно,— начнут работу и не доделают, оставят обязательно на другой день. Но это уже забота не наша. Давай-ка лучше, лейтенант, перекурим это дело. Табачок греет и прочищает мозги. Покурим, потянем и авось что-нибудь придумаем, не ночевать же около этого несчастного моста,— майор, посмеиваясь, достал из кармана папиросы.— «Беломорканал». Курите? Мое курево, лейтенант,— твой огонек. Напополам. Спички куда-то подевались, не найду.

Култаев промолчал. Что-то уж чересчур весело настроен интендант. Торчит тут неизвестно сколько и не унывает, пошучивает. И вообще: проволока на дороге, развороченный мост — не слишком ли много неожиданностей на лесной дороге для одного раза?

Майор уже надорвал пачку.

— Прошу.

Култаеву не хотелось курить, не хотелось терять времени, но он взял папиросу, искоса поглядывая на развороченный мостик. Перебираться придется вброд: укладывать бревна на место слишком долго.

Спички он достал неловко, левой рукой. Правая рука у него занята была поводом, который все время подергивал Орлик, беспокойно стоявший в присутствии чужого человека. Култаев прижал повод локтем к себе, надавленными ремнем пальцами ухватил спичку, чиркнул.

И вдруг пламя спички, красноватое и крохотное, не успевшее разгореться, взметнулось в громовой вспышке, ослепило на миг, вонзилось жгуче в плечо. «Выстрел»,— успел подумать Култаев, разрывая словно слепившиеся веки.

Конь, напуганный грохотом, рванулся, выдернул из рук повод. Плечо у Култаева и вся левая рука, до самой кисти, сразу будто одеревенели. Но освободившейся правой лейтенант успел перехватить руку стрелявшего, чуть отвести в сторону.

Противник был выше ростом и, наверное, сильнее лейтенанта. Одной рукой Култаев вряд ли бы сумел отвести от себя второй выстрел. Но смертельная опасность удесятеряет силы. Напрягшись, чуть присев, Култаев дернул

на излом кисть «майора» и одновременно ударил его головой в живот.

Он не устоял и сам на ногах, но, падая, почувствовал, как о носок сапога что-то тяжело стукнуло: это упал пистолет. «Майор» вырвался, побежал к лесу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Июньская ночь с воробьиный шаг. Пока Андрей провозжал командира взвода и потом сменял посты (разводящему он дал поспать), чуть посветлело. Электрические лампочки по углам ограды померкли и теперь тусклыми звездочками висели над землей.

Стало холоднее, и Андрей, проходивший всю ночь в гимнастерке, зябко поежился, сунул руки в карманы. Перед тем как войти в караульное помещение, он задержался на крылечке, вдыхая влажный чистый воздух. Росы за ночь выпало так много, что даже ступеньки крыльца были мокрые, и Андрей чувствовал ее холодок сквозь сапоги.

Дома он любил по таким росным ранним утрам отгонять в табун корову. Подниматься приходилось чуть свет, отрываясь ото сна. Но он, переборов себя, вскакивал, на ощупь открывал воротца на улицу. Зато какое ожидало его вознаграждение за прерванный сон! Как это было чудесно, когда из-за горбины лесистой сопки, которая называлась «Спящий витязь», медленно и величественно выкатывалось багровое большое солнце.

Здесь, на западе, не было сопок, и солнце ночевало в лесу, но всходило оно с неменьшим величием, и Андрей, находясь в карауле, старался не упустить торжественного момента заступления его в очередной наряд. Он не прочь был и сейчас дожидаться восхода, если бы не желание хоть чуть-чуть вздремнуть.

Андрей совсем уже было переступил порог и остановился, уловив далекий, едва различимый гул. Невольно глянул вверх. Гул напоминал отдаленные раскаты грома, но небо, уже выбеленное рассветом, было чистым. А гул нарастал.

Непонятные звуки привлекли внимание и караульных, задержавшихся у входа, чтобы разрядить оружие. Все стояли вслушиваясь.

— Гроза, что ли?— сказал Ольховский, вскинув голову.— Не могу разобрать.

— Так то ж гроза и есть!— убежденно подтвердил Василь Тимошенко,— чуєте, уходит? Нынче у нас урожай на Украине,— не удержался он от вздоха.— Сестренка пишет— в колхозе пшеница добрая. Скоро косить начнут. И еще пишет, что добро было б, колы б я дома був к уборке.

— А ты поезжай, за чем дело стало,— посоветовал Адамович.

— Та мне ж рано. Мабуть, через год, да и то осенью.

— Не знаешь, как сделать? Выбей сплошные десятки на зачетных стрельбищах, как Касым, и отпустят на побывку жито косить.

— Я ж больше, як в восьмерку, попасть не могу. Не получается. А ще и хуже бывает,— смутился Василь.— Та лучше разом приехать, насовсем, чтобы не вертаться назад, себя не травить.— Он не замечал, что над ним подшучивают.

— К тому же вдруг еще и жениться захочешь, а?— В выпуклых глазах Адамовича загораются бесоватые смешинки.— Можешь ведь жениться, Василь?

— Та зачем? Ни.

— Дивчина же у тебя есть?

— Ну есть.

— Ждет, небось?

— Та, може, и ждет.

— Вот и закатай свадьбу на все село.

— Ни-и. Я ж, як вернусь, зараз на курсы комбайнеров поеду. Председатель, ще когда провожали меня в армию, обещал послать в первую очередь. С МТС вже договорился. Сказал: «Отслужишь, как положено, так сразу и поедешь».

— А что значит: «как положено»?

— Щоб все в порядке, без взысканий.

— А у тебя разве их нет?— Адамович сделал удивленное лицо.

— Та не, пока нема.

— погоди. А за то, что на дневальстве майора за лейтенанта принял, наряд не дали?

— То ж не я, Ташаубаев тогда дневалил.

— Повезло тебе, брат. Старшина за такое наряд влетит как миленькому. Пол в казарме драить. Так что на будущее имей в виду, звания подзубри. Иначе вся твоя положительная аттестация насмарку.

— Нет, а все-таки что это там?— не успокаивался Ольховский.— Старина, как по-твоему?

Пряхин, успевший свернуть сигарку, из-под лохматых бровей окинул взглядом горизонт.

— Стрельба, однако. Похоже, из орудий бьют.

— Может, маневры? Конечно, маневры!— с уверенностью повторил Ольховский, обрадованный своей догадкой.— Лейтенант же говорил, что будут маневры. А мы головы ломаем.

О маневрах разговоры действительно шли. В караульном взводе от приезжавших из лагерей на склад за боеприпасами было известно, что готовятся большие учения, поэтому предположение Ольховского не встретило возражений. Закурили из кисета Пряхина, и разговор кончился, тем более что далекий гул будто уплыл в сторону. Караульные отправились ставить оружие.

Трубин снял с себя противогаз, расстегнул воротник гимнастерки, ослабил ремень и лег на топчан. Но уснуть не мог. Все что-то мешало, давила кобура с пистолетом, было душно. Наконец он уснул.

Разбудил его шум голосов. Сквозь прикрытую ставню щедро бил дневной свет, пахло поджаренным луком. Андрей вскинул к глазам часы, рывком поднялся, быстро привел себя в порядок. В теле еще держалась истома, но сон прошел, и голова была свежей, теперь можно день провести на ногах, последний день в карауле.

Андрей поправил пилотку, вышел из своей комнатки. Разводящий Кучкильдин, словно ожидавший его появления, доложил:

— Товарищ старший сержант, происшествий нет! Состав караула готовится к завтраку!

Его ждали. На кухне, жаркой от топившейся плиты, на столе были расставлены миски, грудой лежал посредине хлеб, нарезанный крупными косыми ломтями, как на покосе. Уляшев, исполнявший обязанности кашевара, повязанный куцом вафельным полотенцем вместо фартука, передвигал горячие кастрюли. На плите булькал вскипевший полуведерный эмалированный чайник.

К завтраку приглашать не пришлось никого. Все дружно уселись за стол, едва появился начальник караула. Адамович, вооружившись ложкой, с аппетитом втянул в себя крючковатым носом воздух.

— Вроде мясцом отдает. Я не ошибся, ваше степенство?

— Скоромное, скоромное. Успокойся,— упирая на «о», отозвался Уляшев, откидывая крышку кастрюли.

— Эх, люблю службу, когда к столу зовут да отбой командуют. Перед отбоем хочется рапорт подать на сверхсрочную, а когда подъем — сразу бы домой уехал,— мечтательно вздохнул Адамович, прицеливаясь к румяной, чуть-чуть подожженной хлебной горбушке. Отломил от булки кусок, сунул в рот. Он с таким удовольствием похрустывал подгорелой коркой, что, глядя на него, не дождавшись горячего, потянулись к хлебу и остальные.

— Раздавай,— кивнул Уляшеву Андрей.

Вооруженный половником, кашевар по субординации подхватил его миску первой и сыпнул в нее картофельного пюре, густо перемешанного с кусками мяса.

Вошел задержавшийся в пожарной младший сержант Клевакин. Видя, что все уже принялись за завтрак, насупил, недовольно загремел умывальником.

— Где мыло? Кто взял? Что за порядок прятать вещи, которыми всем пользоваться положено.

— Там мыло. Смотри хорошо. На полке,— сказал Ташаубаев.

Адамович придвинул Ташаубаеву миску.

— Как недавнему отпускнуку, усиленная порция для восстановления сил.

За столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь дружной работой челюстей. Но не таков был Адамович, чтобы удержаться и не нарушить молчание. Поглядывая на Уляшева, он выждал, пока тот взялся за ложку, и произнес изумленно, почти с испугом:

— А молитву, Кузьма? Смотри, вернешься домой — жена и не узнает. Между прочим, как она у тебя с идейной стороны: тоже верующая?

— Каждый выбирает себе человека по душе,— взяв из общей груды ломоть хлеба, спокойно сказал собаковод.

— Не любишь ты свою жену, Кузьма,— покачал головой Адамович и отправил в рот полную ложку горячего картофеля.

— Это отчего же?

— Вон Феоктистов чуть не каждый день письма строит супруге, или Касым — даже во сне свою Шолпан вспоминает, слова всякие нежные бормочет, хотя недавно и побывал дома. Гордится, что стахановка, премию от колхоза получила за телят.

— И моя робит, однако, на пасеке.

— А почему не расскажешь о ней? Какая она из себя? Как звать?

— Зовут Пелагеей, Полей, стало быть. А более чего говорить?

— Это эгоизм. Семейный человек, и об этом с товарищами ни слова. А может, вашими кержацкими законами запрещено рассказывать? Вашими попами?

— Попов, однако, нет у нас. Это у церковных — поп.

— А кто же у вас?

— Свой у нас человек, из нашей же деревни. Начетчиком называется. Он службу ведет.

Адамович уже не впервой заводил с Уляшевым разговор на эту тему. И тот не уклонялся. Отвечал обстоятельно, степенно. Собственно, так степенно и обстоятельно он делает все, за что ни берется. Он и ест так же. Неторопливо несет ко рту полную ложку. Крошки со стола бережно, по-крестьянски, сметает в ладонь и отправляет в рот.

— А как он, начетчик-то, из себя старый?— продолжал допытываться Адамович.

— В годах, однако.

— Ну, а все-таки, лет полсотни или больше?

— Поменее, пожалуй, пятидесяти,— подумав, говорит Уляшев, не замечая, куда тот клонит.

— А на моления эти самые у вас ходят и мужики и бабы, все вместе?

— Разделения нет.

— И Пелагея твоя ходит?

— Посещает в праздники, однако. В такие-то дни редко удается: пасека в восьми верстах.

— А не подкатится начетчик к молодухе? Не боишься?

— А вы, красноармеец Адамович, думайте о чем говорите,— вмешался в разговор Клевакин,— человек в Красной Армии находится, долг свой перед родиной выполняет согласно присяге, а всякие там необоснованные напоминания о непорядках дома, тем более в семейных отношениях, отвлекают от службы. А за это не похвалят. Учтите...

Бывший танкист всем своим видом изобразил недоумение и даже жевать перестал.

— Так это же антирелигиозная пропаганда. Согласно конституции, каждый гражданин имеет право верить в бога и не верить, агитировать против веры. Уляшев — верующий, а я — нет. Между нами, естественно, спор. А в споре рождается истина. Не мои слова, между прочим.

— Истина. Слишком много разговариваешь. Нашел место. Так можно договориться. Знаешь?..

— Ладно,— согласился с серьезным видом Адамович.— Дискуссия по приказу Клевакина прекращается на неопределенный срок.

— У меня, между прочим, воинское звание есть, товарищ красноармеец Адамович.

— Извиняюсь, товарищ сержант Клевакин.

— Младший сержант.

— Действительно, младший,— в изумлении приподнял белесую бровь Адамович.— А мне почему-то всегда казалось — сержант.

Все улыбнулись. Склонились над мисками.

Завтрак окончили, Кучкильдин скомандовал:

— Смена, строиться!

— Вот, видишь,— пожаловался огорченно Адамович, вставая из-за стола.— Не дает пище утрамбоваться. А если на посту с желудком что случится? Самому же придется вести подмену.

Взяв оружие и противогазы, наряд вышел. Но Кучкильдин, выходявший последним, тут же вернулся с необъяснимой для него поспешностью и взволнованно, что тоже с ним бывало редко, произнес одно слово:

— Слышите?

В распахнутую дверь, откуда-то вместе с теплым утренним воздухом вползал басовитый тягучий звук, который уже возник давно, но в караульном помещении за разговорами никто его не слышал, и только теперь обратили внимание.

Как по команде, все вскочили из-за стола, бросились к выходу. Над лесом, в чистом, белесоватом утреннем небе, сверкая на солнце фюзеляжами, медленно, с запада на восток, зловещей стаей плыли самолеты. Да, именно плыли в четком строю, треугольником, в несколько рядов, неторопливо и упорно, словно преодолевая встречный ветер. Как птицы. Железные птицы.

Хотя самолеты шли на довольно большой высоте и, при всем желании, невозможно было с земли различить опознавательных знаков, Андрей, да и не один он, сразу понял — это чужие, не наши самолеты и появились они в нашем небе неспроста. Беспокойство, родившееся у него в глубине души еще на рассвете, гадая, когда они прислушивались к глухим раскатам на западе, гроза это или не гроза, как-то сразу переросло в тревогу, зашемявшую

сердце. Трубин вдруг почувствовал, что произошло что-то чрезвычайно серьезное.

Самолеты шли с интервалом, двумя большими группами. Первая была почти над головой. А вдали, из-за леса, всплывала новая армада, и воздух начинала сверлить та же басовая нота.

Караульные стояли возле крыльца, молча глядя вверх. Никто в первые минуты не проронил ни слова. И только когда самолеты чуть удалились, состояние общего оцепенения стало проходить. Ольховский первый отвел взгляд, подавленно вздохнул:

— Вот тебе и маневры.

— А може, це наши. Задание какое?— с надеждой произнес Тимошенко, по-ребячьи моргая белесыми ресницами.

— Угадал, «наши»,— с непривычной угрюмостью хмыкнул Адамович.— Вглядишься, друже, хорошенько, может, рукой тебе по-приятельски кто-нибудь оттуда помашет.

— Куда ж их столько?— Уляшев, не скрывая испуга, перекрестился.— Неужто плохое что затеяно? Не приведи господь.

Вторая волна самолетов не успела схлынуть, когда издалека, с той стороны, куда они плыли, донеслись глухие удары. Будто кто-то чудовищным молотом, раз за разом, тяжело ухнул по земле.

— Что это?— вырвалось невольно у Андрея.

— Бомбежка,— сказал тихо, хрипловатым, точно простудой перехваченным голосом, Пряхин.— Похоже, железную дорогу бомбят. В той стороне...

Все повернулись к Пряхину, глядя уже не на самолеты, а на него: настолько ошеломляющим и невероятным был смысл его слов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Старшина Барабанов сам отвез Дашу Култаеву к поезду, усадил в вагон, договорившись с проводником, чтобы тот за ней присматривал, и теперь возвращался со станции с сознанием выполненного долга.

Не заезжая в военный городок, он отправился прямо в авиационную часть, где должны были состояться волейбольные соревнования.

Свой взвод он опередил ненамного.

Пока устроил лошадь за оградой монастыря, где раз-

мещался городок летчиков, и отыскал спортплощадку с натянутой на столбах волейбольной сеткой, подросли бойцы. Строй вел сержант Коржов. В стороне шел старший сержант Якутов. Бойцы, притомившиеся за дорогу, при входе на территорию городка заметно подтянулись, а увидев старшину, дали шаг. Коржов остановил строй на краю площадки, доложил, вскинув большую ладонь к пилотке, потемневшей по кромке от пота:

— Прибыли, товарищ старшина. Команда и бoлельщики!

Барабанов придирчиво оглядел строй, остался доволен. Выправка, как надо. Даже повар Пилипенко, нестроевик, излишне грузноватый, держался бодро, хотя и весь взмок.

— Вольно! Привести себя в порядок. Разойдись!— решил старшина.

— Разойдись!— повторил команду Коржов. Строй рассыпался. Бойцы, заметив поблизости колодец, устремились туда.

К Барабанову подошел старший сержант Якутов.

— Втянул ты меня в историю. После такой прогулки очухиваться придется два дня,— пожаловался кладовщик, снимая фуражку и вытирая смуглый лоб явно не военторговским носовым платком.

— Тренировка. Не выспался, небось, с субботы?— посочувствовал старшина, глядя на скуластое, помятое, хотя и свежевыбритое лицо приятеля. От кладовщика несло на метр одеколоном. Целлулоидный белый подворотничок, петлицы, малиновые зубчики сержантских знаков различия — все сияло новизной. Да и сама зеленая комсоставская гимнастерка была новенькой, видно, взята прямо со склада.

— Есть и это,— согласился Якутов, многозначительно в усмешке щуря глаза,— провел вечерок у одной знакомой. Спать пришлось маловато. Что мы слушаем, жаримся, давай-ка куда-нибудь в тень.

Они отошли под защиту развесистого монастырского дубка, присели на поставленную в холодке садовую скамейку. Якутов достал из кармана бархотку, смахнул пыль с хромовых, в гармошку сапог.

— А тут, я смотрю, не очень нас ждут: ни речей приветственных, ни оркестров.

Барабанов и сам только успел подумать: что бы это означало, что их никто не встретил? Вроде бы и не слишком рано они пришли, почти точно к назначенному време-

ни. Из-под козырька фуражки, прищурясь, старшина оглядел залитый солнцем монастырский двор. Двери собора — теперь гарнизонного клуба — закрыты. Поодаль, возле двухэтажного, затененного деревьями дома комсостава толпились женщины. Странно!

От колодца, где какая-то дивчина с косами поила из ведра бойцов, торопливо подошел командир отделения младший сержант Аветисян. Большие, навывкат глаза его тревожно блеснули.

— Товарищ старшина, известия чрезвычайной важности, — с ходу заговорил он, волнуясь. — Война! Понимаете? Оказывается, мы ничего не знаем!

— Как, война? — не понял Барабанов. — Кто сказал?

— Вон, девушка говорит. Летчикам позвонили, что фашисты напали.

Подошли остальные бойцы, и с ними девушка с ведром, дочь одного из командиров, подтвердившая, что началась война и что она об этом слышала от отца. В это время во двор стремительно вкатил «пикап». Шофер затормозил возле спортплощадки. Из кабины выскочил младший политрук, заведующий клубом, хмурый, озабоченный. Поздоровался, извинился за опоздание.

— Боюсь, что соревнование наше не состоится. По крайней мере, сегодня, — сказал он. — Летный состав вызван на аэродром. Боевая тревога. А вы устали? Вас хоть угостили водичкой? Вода у нас отменная. Ах, Оксана догадалась, — кивнул он, заметив девушку. — Пойдемте в клуб, там холодок. Отдохнете.

Младшего политрука забросали вопросами: какое было сообщение, не провокация ли это, где бои? Тот и сам знал немного, сказал, что позвонили из округа о нападении фашистской Германии и, достав пачку папирос «Казбек», предложил всем желающим.

— Вы очень-то не беспокойтесь. Думаю, инцидент будет исчерпан быстро, — махнул он рукой.

Увидев знакомый «пикап», подошли женщины, жены летчиков, и тоже стали расспрашивать младшего политрука, что там на аэродроме. За этим общим тревожным разговором и курением как-то никто сразу не обратил внимания на возникший в небе глухой, отдаленный гул. Люди тут были привычны к шуму над головой. И только когда гул стал совсем отчетливым и от него задребезжало опущенное до половины, неплотно державшееся стекло в дверцах «пикапа», — все умолкли, стали смотреть вверх,

земле. Земля колыхнулась, ушла в сторону. Барабанова приподняло, швырнуло. На какое-то время он будто провалился в темноту, но тут же пришел в себя, чувствуя на губах тошнотворный привкус гари. Что-то мешало перевести дыхание, давило в грудь. Тела своего он не чувствовал, зато голова казалась непомерно тяжелой, налитой болью, распухшей. Затылок точно прикипел к земле, на зубах хрустел песок.

Барабанов с усилием открыл глаза и попытался встать, преодолевая ломоту и слабость в ногах. С трудом поднялся, пошатываясь, как пьяный, в тревоге за своих бойцов огляделся вокруг. Дубок, под которым они несколько минут назад укрывались с Якутовым от зноя, лежал, переломанный пополам, закрыв опаленными, искромсанными ветками волейбольную площадку. Воронка от бомбы дымила, кругом валялись красные, вывернутые из земли кирпичные обломки, которыми когда-то монахи мостили двор. Паперть собора сверкала битым стеклом.

Дым черными клубами подымался совсем рядом. Горел дом комсостава.

Бойцы не пострадали, торопливо вскакивали. К Барабанову подбежал младший политрук, обсыпанный шука-туркой.

— Не ранен, старшина?

— Нет,— Барабанов мотнул головой, прогоняя звон.

— Ой, что он натворил!— воскликнул младший политрук,— он же общежитие разбил, столовую! Скорей, старшина, пожар тушить. Тут у нас сейчас одни женщины, дети.

Они разделились: часть бойцов побежала тушить столовую, с остальными Барабанов бросился к горевшему дому. Огонь там бушевал всюду. Жаром дышало от объятых огнем дома. Дым валил в окна, перевитый языками пламени, змеился по крашеным карнизам. Женщины пытались хоть что-то спасти из своего имущества. В скверике возле дома, на скамейках, а то и просто на земле стояли чемоданы, валялись наспех схваченные в квартирах домашние вещи, одежда. Тут же были и ребятишки. Какой-то парень в голубой футболке вытаскивал из подъезда детскую плетеную коляску.

Бойцы стали помогать женщинам. К Барабанову подбежала Оксана: сорочка на ней была выпачкана сажей, косы растрепались.

— Товарищ старшина! На первом этаже женщина

с ребенком. Она после операции. Надо спасать ее, товарищ старшина. Через окно надо. Вон то, угловое.

Еще не оправившись от контузии, со звоном в голове, Барабанов взглядом отыскал окно, на которое показывала девушка.

— Вода есть?

Оксана перехватила у кого-то из рук ведро с водой.

— Лей,— приказал Барабанов. — На голову лей! Все!

От холодной колодезной воды, хлынувшей за шиворот, ему сразу стало легче, исчезла отвратительная слабость.

— Коржов, помоги-ка. — Он шагнул к окну, мирно белевшему коротенькой шторкой-задергашкой.

Дубовую, на совесть связанную раму с трудом выломали вдвоем. Из комнаты, подхваченный сквознячком, повалил дым. Оксана торопила:

— Скорее, товарищи. Там ребенок, женщина.

Барабанов взобрался на подоконник. Сержанту коротко кинул:

— Стой здесь! Я один. Будешь принимать.

Он сам, несмотря на свой небольшой рост и сухощавую фигуру, едва втиснулся в пролом: острый обломок рамы уперся в плечо, старшина рванулся, оставив клочок гимнастерки, прыгнул в дым. Его опалило жаром. Барабанов прижал к лицу мокрый рукав. Как из другого мира донесся до него голос девушки, кричавшей в окно:

— Дальше, дальше смотрите! В другой комнате.

Женщина была в этой следующей комнате, по-видимому, спальне, и Барабанов, двигаясь на ощупь в сплошном дыму, нашел ее сразу, вернее, наткнулся на нее. В беспмятстве она лежала на полу, свалившись с кровати. Напрягая силы, поднял отяжелевшее, безвольное тело, как во сне, задыхаясь, дотащил к окну, передал бойцам. Остался ребенок.

Барабанов вернулся в спальню, успевшую заняться огнем. Рядом что-то горело, трещало, падало, огонь плясал под ногами, слизывая краску с пола. Но вот и кровать, ребенок в одеяльце. Сейчас он его возьмет, одно последнее усилие. Главное, рассчитать силы, не упасть, не потерять сознание.

Вот уже порог, вот впереди пятном окно, где его ждут. Вот уже тянутся к нему руки Васи Коржова. Все. Ребенок подан. Остается самому подняться. Ногу на батарею отопления, грудью на подоконник.

Сбоку неожиданно метнулось пламя, лизнуло лицо.

Барабанов отпрянул, и в тот же момент оторвавшийся от прогорелого потолка брус рухнул, осыпая его искрами.

Женщину с ребенком и обожженного неподвижного старшину уложили в двуколку. С ними села Оксана. Повар Пилипенко взялся за вожжи, и они поехали в больницу. А с аэродрома пришел грузовик с приказом командира полка: женщин и детей эвакуировать.

Пожар в городке затухал. Деревья вокруг, такие недавно зеленые, развесистые, стояли черные от дыма, с опаленной свернувшейся листвой. Бойцы караульного взвода, хмурые, удрученные ранением старшины, собрались у колодца, пили прямо из бадьи, смывали с себя грязь и копоть. Внешне они мало походили сейчас на тех щегольски приодетых красноармейцев, какими были несколько часов назад. Обмундирование, с таким старанием отутюженное утром, выпачкано и прожжено, надраенные до сияния сапоги — в золе и кирпичной пыли.

У всех остались отметины от борьбы с огнем: ссадины, ожоги, опаленные брови и волосы. На голове младшего сержанта Аветисяна белела повязка. Кто-то из женщин отдал ему платок, чтобы перевязать разбитый лоб.

Один старший сержант Якутов выглядел почти по-прежнему. Как уж ему удалось, но и гимнастерка и брюки сохранили у него франтоватый вид.

Подошел младший политрук с перевязанной рукой, в порванной гимнастерке, спросил, не пострадал ли еще кто.

— Спасибо, товарищи. Вы просто молодцы. Будем ходатайствовать перед вашим командованием об объявлении вам благодарности. За старшину не горюйте. В больнице здесь замечательный врач, поставит на ноги в два счета. А вас мы подбросим в часть. Вернутся машины, и отвезем. Подождете?

— Нет, — ответил за всех Вася Коржов и поглядел на солнце, заметно перевалившее зенит. — Мы пойдем. Война. Нам в караул заступать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Риту разбудил осторожный стук в дверь. После того как Даша уехала, она долго не могла заснуть. Только под утро усталость взяла свое, она заснула.

И вот уже день. Солнце успело подняться за крышу. Сквозь тюлевую занавеску гляделось жаркое, высиненное небо. Разморенно чирикали воробьи.

— О да... Не знаешь даже, как и сказать,— хозяйка оглянулась на мужа, как бы в ожидании помощи.

— Извиняюсь, Рита. Это так страшно выговорить. Война!

— Война? — переспросила Рита, ощутив внезапный холодок на спине. — Не понимаю.

— Да, да. Трудно поверить, но все говорят: герман начал войну. Мы сами видели аэропланы. Герман летел. Много аэропланов. Мы совсем расстроились. Борух не пошел в мастерскую. От такого расстройтва разве можно работать?

— Да, да, трудно работать,— закивал, подтверждая, хозяин.

«Самолеты... Война... Неужели?» — Ну, а кто все-таки сказал? Официально? Возможно, тут еще ошибка? — возразила Рита, стараясь придать своим словам уверенность.

Теперь старики заговорили уже наперебой.

— О, если бы ошибка, пани доктор. Мы сами не верили, а как пан Швыдко заглянул к нам — он торопился к себе на завод,— и подтвердил, то уж нельзя стало не верить. Он директор завода, разве напрасно скажет? Такие тяжелые вести. Матка боска, что-то будет? Вдруг герман придет. По городу слухи всякие. О, это будет плохо, вельми. Мы знаем, что такое война. Очень хорошо знаем. Много войн. Были австрийцы, Пилсудский, сичевики. Теперь немцы. И все стреляли, все обижали народ.

Рита слушала стариков, сама теперь потрясенная не меньше их. Слишком серьезным было то, что она услышала, чтобы сразу поверить и понять. Но потом она подумала, что должна быть сейчас как-то выше этих подавленных грозным известием пожилых людей. Поэтому постаралась, как могла, успокоить их, сказав, что все еще обязательно выяснится, и что если даже что-то и серьезное, то ненадолго, и что никаких разговоров о приходе сюда немцев быть не может — сама она и мысли не допускает об этом. Извинившись, она вернулась в комнату. Быстро надела свою форменную юбку, гимнастерку, пилотку и закрыла квартиру на ключ, оставив лейтенанту Култаеву записку о том, что она уехала.

Всю дорогу до военного городка ее не покидала мысль, как быстрее добраться в лагерь. В сумятице чувств и неопределенности ей было ясно одно: надо во что бы то ни стало попасть в часть, быть на своем месте. Рита была уверена, что война, а возможно и просто провокация,—

ненадолго. И, может быть, их части даже и не придется отражать наглую вылазку врага. Война! Грозный смысл этого слова совершенно не вязался в представлении девушки с безмятежным солнечным полднем, с привычной тишиной городка. Все было как вчера, когда она спешила на квартиру, соскочив с попутной машины, и как неделю назад — улицы, дома, деревья, цветы в палисадниках. Несмотря на ощущение тревоги и безотчетное ожидание неизбежных перемен, Риту не покидала надежда на то, что вот-вот ей кто-то встретится и скажет такое, от чего все вернется на прежнее, привычное место и все эти неопределенные слухи о войне останутся просто слухами.

Но ей никто не попался навстречу, кроме нескольких прохожих, торопившихся по своим делам. А вид дневального в проходной военного городка, необыкновенно сосредоточенного и с винтовкой (обычно дневалили с одним штыком в ножнах), положил конец надеждам.

Дневальный узнал ее, приветствуя, принял положение «смирно».

— Товарищ военфельдшер, слышали: война! Фашисты напали. Вот и договор о дружбе. Морочили нам голову, а сами готовились, чтобы бомбы сбрасывать на мирное население. Я вот тут записал речь товарища Молотова по радио, правда, не всю, сколько успел. — Красноармеец протянул тетрадный листок, торопливо исписанный карандашом.

Рита повернулась к свету. Первые же слова ударили тревогой в сердце.

«Граждане и гражданки Советского Союза!.. Сегодня, в четыре часа утра... без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...» Война! Сомнений не оставалось. Не просто провокация, а война.

Строчки бежали косо и на срезе листка обрывались.

— Торопился и сломал, а очинить нечем, — сказал дневальный, показывая изгрызенный карандаш. Он взволнованно пересказал выступление Молотова, сообщил, что в военном городке сейчас никого нет, кроме дневальных, и, посторонившись в узком проходе, пожаловался:

— Эх, досадно. Расколошматят фашистов, а мы тут так и проторчим. Как думаете, товарищ военфельдшер, если подать рапорт, могут как добровольца направить в действующую часть? У меня же причина есть уважительная: братишка там на пограничной заставе служит.

Рита выразила уверенность, что причина вполне ува-

жительная, и прошла во двор. А здесь опять все было до невероятности спокойно: знакомый плац в пороше точолиного пуха, прохладная пустота столовой, казарма с поблекшим кумачовым лозунгом над входом, оставшимся от Первого мая: «Да здравствует праздник международной солидарности трудящихся...» Как будто ничего не случилось.

А вот и санчасть. Здесь особенно безмятежно. Березы, пестрая россыпь теней на земле, мягкая и упругая, как ворс ковра, травка у тропинки.

Рита открыла дверь. В лицо пахнуло лекарствами. Подождала, пока немного развеется застоялый воздух. Потом прошла через амбулаторию, где они с врачом вели прием, отодвинула марлевую занавеску на окне, толкнула створку. Подхватила сброшенные со стола сквозняком листки регистрации, успевшие выгореть на солнце, прижала их пресс-папье. Из графина выплеснула за окно застоявшуюся воду.

Рита с минуту машинально наводила порядок. Поставила на шкаф валявшийся на полу старый кипятильник для шприцев и так же машинально, по привычке, прошла через узкий коридорчик в изолятор, где царил настоящий хаос.

Рита остановилась в дверях. Ей было грустно, но отчего?

Конечно, не потому, что захламлен изолятор. Не во имя этого придумывает она причины, чтобы вырваться сюда на выходной день. Проводы подружки лишь причина.

Не пора ли сознаться в том, что приезжает сюда в надежде на встречу с Андреем. Сколько, оказывается, в жизни обстоятельств, которые сильнее твоей собственной воли и независимы от нее!

Вчера за столом в разговоре с лейтенантом Култаевым и Дашей она делала вид, что не понимает намеков.

Рита закрыла дверь изолятора и вернулась в амбулаторию. Отбирать медикаменты было уже некогда. Взяла пустую санитарную сумку, быстро уложила в нее бинты, вату, индивидуальные пакеты и, не задерживаясь, вышла из санчасти. Услышав звук автомобильного сигнала, заторопилась, почти побежала к проходной.

За воротами стояла облепленная засохшей грязью полуторка. Красноармеец-шофер, в выбившейся из-под ремня измятой гимнастерке, наливал из ведра воду в ра-

диагор. Дневальный, стоя тут же, пальцем трогал свежий отщеп на кузове.

— Товарищ военфельдшер! Вот, побывал под обстрелом! Смотрите, отметины от фашистских пуль,— сказал дневальный, с нескрываемым уважением и завистью глядя на шофера.

Красноармеец выпрямился, поставил на подножку ведро, одернул гимнастерку. Обветренное, остроскулое лицо его, в разводах пота и дорожной пыли, было сурово-замкнутым.

— По дороге снизился, гад, и очередью. Младшего воентехника задело. Ну и сам не сдобровало,— злая усмешка тронула губы шофера, тоже обветренные и по-мальчишечьи припухшие, в трещинах.— Кинулся на вторую машину, а там станкач счетверенный. Напоролся, аж щепа полетела.

Шофер, считая, что объяснил достаточно, сказал:

— Пакет надо сдать начальнику склада. Где только его искать?

Рита знала начальника склада, пожилого, очень вежливого военинженера. Квартиры их были по соседству.

— Едем, покажу,— сказала она.

Рита уже села в кабину, когда к ней обратился дневальный.

— Товарищ военфельдшер, извините. Я тут написал рапорт. Может, встретите лейтенанта, отдайте ему. Пусть в штабе замолвит слово,— дневальный смущенно протянул свернутый вчетверо листок.

— Я передам,— пообещала Рита, пряча рапорт в кармашек гимнастерки. Шофер нажал на стартер.

Начальника склада они не застали на квартире. Жена, встревоженная известиями о войне, сказала, что он еще накануне уехал в управление и до сих пор не вернулся. Возможно, добавила она, завернул сразу к себе на склад: с ним такое бывает.

— А мы съездим,— сказала Рита, чтобы успокоить расстроенного неудачей шофера. — Дорогу я знаю. Тут рядом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К полудню на тесовом карнизе, перед входом в караульное помещение, от жары янтарными каплями проступила смола.

Фашистские самолеты за это время дважды проплывали на восток, и снова, как и рано утром, из-за леса временами доходил чуть различимый гул, который теперь уже совсем легко было принять за далекие раскаты грозы, потому что ветер нагнал облаков, и они громоздились по всему горизонту серыми башнями.

В карауле после пережитой тревоги все вроде стало на свое место, шло по заведенному порядку. Разводящий Кучкильдин сменил посты. Уляшев, как всегда, возился с собаками. Отправился к себе в пожарку младший сержант Клевакин. Смена отдыхала. Но никто не спал. Было душно, зной сочился сквозь прикрытые ставни. Все уже понимали серьезность происходившего, но ничего определенного никто не знал, и эта неизвестность не давала покоя. Даже Феоктистов, способный, казалось, за книгой позабыть обо всем на свете, в этот раз не мог читать.

Андрей Трубин, разморенный духотой, сидел над своей записной книжкой, тщательно пытаюсь сосредоточиться. Неведение выводило его из себя. Смена караула только вечером, значит, до вечера ждать. В другое время в выходной день работники склада наведываются, а тут — никого. Правда, в городок пошел Экштейн. Андрей послал его за солью (выдавая на воскресенье караулу сухой паек, повар забыл положить ее), но со своей нерасторопностью Христофор мог как раз и явиться к смене караула, не раньше.

А в соседней комнате вполголоса переговаривались караульные.

— погоди, Адамович, зачем спешишь, слова зря бросаешь? — горячился Ташаубаев. — Ждать надо, все узнаем. Зачем торопиться, как на байга? Свое дело делай и жди.

— Да ясно же все. Видел, как они нахально разгуливают над головой? И ты, друг, не спорь.

— Чего спорить? Никто не спорит. А ты кто такой? Командир дивизии или нарком обороны? Откуда знаешь? Газеты читал? Там как говорится? Договор с Германией. Имеем договор, правда?

— Имеем. А ты знаешь, кто такие фашисты? Знаешь?

— Чего не знать? Все знают.

— То-то и оно. Смахнуть их с нашего неба, как мусор метелкой.

— Приказ будет — всех прогоняют.

— Приказ. Тут и без приказа понятно, прешься в чужой дом без спроса — получай в рыло. Полк истребителей

в воздух — и порядок! А против тех, кто на земле, — парочку танковых бригад! И мозги будут прочищены под первый номер. Это как пить дать! — заверил Адамович и с сожалением вздохнул: — Да-а, братцы, кто-то повоюет. Эх, сейчас бы хоть глянуть на танковую атаку. Это же лавина! Сметает все на пути! Есть же счастливые люди! А тут — лежишь, набиваешь на боках мозоли.

Слова Адамовича нашли отзвук в душе Андрея. Он ведь думал то же самое. Что если в самом деле другие воюют, дают отпор врагу, а они здесь лежат, и без них все кончится: без Адамовича, без Ташаубаева, без него, Трубина? Так и проторчат они тут, в наряде, в стороне от всех событий — и чего уж там! — от подвигов. Ну разве не досадно?

Как большинство его сверстников, Андрей Трубин искренне жалел, что появился на свет слишком поздно и по этой причине не застал ни революции, ни гражданской войны и что бурные, полные романтики времена Чапаева и Николая Островского никогда уже не повторятся.

Он завидовал отцу, побывавшему в сражении под Мукденом и в Восточной Пруссии, его георгиевским крестам, оставшимся только на старых карточках, и даже его ранениям: мелкие осколки немецкого снаряда татуировкой голубели у отца на спине. И не мог понять, почему отец, человек в общем-то словоохотливый, словно замыкался сразу, едва речь заходила о войне, и коротко, неохотно отвечал на его вопросы. Уж он-то, Андрей, на месте отца не отмалчивался бы.

Что и говорить, скучный на его долю выпал век Коллективизация и та прошла, когда он был совсем мальчишкой. К тому же у них в селе еще и досадно гладко, без кулацких выстрелов из-за угла из обрезов и без поджогов. Ему казалось, что обыденная мирная жизнь установилась раз и навсегда, что уже не будет никаких встрясок, тем более войн, как раньше.

А между тем война разгоралась подобно тому как разгорается от брошенной спички пожар в лесу, подспудно, незаметно, где-то внизу, возле самой земли под толстым слоем опавшей хвои и листьев, до поры до времени не привлекая к себе внимания и никого особенно не тревожа. Война в Абиссинии. Андрею она запомнилась по газетной фотографии — Суэцкий канал в пустыне и огромный трехтрубный пароход, полный итальянских солдат в тропических шлемах. Испания. Всю зиму они — четверо

приятелей — готовились к побегу туда, на помощь республиканцам. Копили деньги, патроны к малокалиберной винтовке, составляли маршруты пути. И убежали, правда, не очень далеко, до соседней станции. В поезде их случайно встретил приятель отца — фельдшер, и мечта об Испании рухнула.

Эта отделенная морями и тысячекилометровым расстоянием война затем стала подбираться ближе к границам и уже ощутимо давала о себе знать. Бои на сопках Заозерной и Безымянной, бои в степях Монголии. Андрей готовился к экзаменам за первый курс, когда в городе открылся госпиталь. Потеснили и институт: в одном из учебных корпусов оборудовали столовую для раненых. Тут уж война дохнула в лицо.

В «институтском» госпитале — так его звали в городе — были, в основном, легкораненые. Они расхаживали по территории института и в скверике с руками на перевязи, с забинтованными головами, некоторые на костылях. К ним приезжали родственники и знакомые, приносили передачи. Приходили шефы с подарками. Ходил и Андрей, один и с приятелями. Раненые — молодые ребята — угощали папиросами, рассказывали о монгольских степях, где воду для танковых моторов приходилось доставлять в бурдюках, о ловких монгольских кавалеристах-цириках. И Андрей завидовал ребятам. Будь он на пару лет старше, тоже бы служил в армии и, быть может, попал бы на Халхин-Гол.

Затем грянула финская война. В разгар ее, в начале сорокового года, Андрея наконец тоже призвали в армию. Взяли почти всех ребят с их курса, всех, кто призывался, в лыжный батальон особого назначения. В военкомате экипировали их полностью, по-фронтовому: выдали автоматы ППД и каски с подшлемниками, на случай морозов. Но где-то уже под Вологдой эшелон вдруг повернули на запад. А вскоре, к общему разочарованию всего батальона, война кончилась.

Многие односельчане, друзья Андрея, успели побывать в боях, некоторые погибли. Один даже получил орден за участие в штурме «линии Маннергейма», а он так и не добрался до фронта. Тогда Андрей написал стихотворение о погибших товарищах, поклялся в нем отомстить врагу в грядущих битвах и согласился пойти в полковую школу, хотя знал, что это будет означать лишний год службы.

Со смутным беспокойством следил он за тем, как Гер-

мания и Италия одну за другой захватывали соседние страны. Подобно чернильному пятну на белой скатерти, растекались фашистские войска по Европе: Греция, Югославия, остров Крит. Андрей был уверен, что так просто все не кончится, что ждать надо чего-то еще большего, страшного. Но... Только не скоро, в отдаленном будущем.

Даже сейчас, перед лицом тревожных, хотя и не совсем еще понятных событий, был убежден, что все это: и немецкие самолеты и гул взрывов, как говорит Пряхин,— не более чем провокация. И, конечно же, кроме их караульного взвода, найдется кому дать отпор провокаторам, отбросить их за рубеж. Может быть, это уже и сделано. Правда, непонятно, почему фашистские самолеты летают беспрепятственно над нашей территорией? Но наверняка есть и этому объяснение. А если все-таки война...

Нет, ему положительно не везет. Сегодня он проторчит в карауле, а завтра уедет. Значит, и теперь, когда могут начаться бои, настоящие бои, совсем рядом, он снова останется в стороне. Да что там, уже остался. А как бы ему хотелось, чтобы все было наоборот — ходить в атаку, стрелять, быть раненым.

Мысли Андрея прервал Ташаубаев, взволнованно объявивший:

— Опять летит! Фашист летит!

Андрей сорвался с топчана, вместе со всеми выбежал из караульного помещения. С запада наплывал уже знакомый ноющий гул. Самолеты медленно приближались, вытянувшись косым клином.

Теперь никто при виде самолетов не обменивался замечаниями и не строил предположений. Знали твердо: это враг. Стояли молча и смотрели в небо, полнившееся тяжелым гулом.

— Шайтан! Собака! — не выдержал Ташаубаев. — Товарищ старший сержант, разреши стрелять из «Дегтярева», очередь одну давать. Как терпеть, а? — он сузил глаза в щелки, прикидывая расстояние, пожалел в неподдельной досаде: — Нет, нельзя пулемет. Далеко. Зря патроны тратить. Самолет надо наш, дорогу загораживать.

— Есть! Наш есть! — обрадованно сообщил Ольховский, оказавшийся зорче всех. — Смотрите, наш! Вот он!

Ольховский, широко расставив короткие, крепкие, как столбики, ноги, показывал рукой вверх, в нетерпении переспрашивал каждого:

Адамович, поворачивая уставшей шеей, в запальчивости строил планы:

— Сейчас бы зенитку! Или счетверенный станкач. Снизу подсыпать бы огонька. Гляньте, братцы!

С одним из бомбардировщиков явно что-то случилось. Он вдруг клюнул щучьим носом, метнулся вбок и, заваливаясь неуклюже на одно крыло, заскользил вниз. Об него, будто спичкой чиркнули, закурился дымок, сначала жидкий, белесый, а потом густой и черный. Через долю минуты самолет скрылся за лесом, упал.

Караульных охватил восторг.

— Вот это дает! По-танкистски дерется! — выразил похвалу в адрес летчика Адамович, подхватывая свалившуюся с головы пилотку с маленькой звездочкой.

— Фашистам давал хорошо! Настоящий джигит! — хвалил неизвестного истребителя Ташаубаев.

Родовались все, словно были свидетелями простого спортивного состязания, а не смертельного воздушного боя. Молчаливый Кучкильдин и тот не смог не обронить несколько скупых взволнованных слов.

А истребитель, оставаясь в единственном числе, продолжал отчаянную неравную схватку, то свечой взмывал вверх, то так же стремительно падал с высоты, заставляя тяжелые бомбовозы шарахаться от него, ломая строй.

Андрей с замиранием сердца следил за истребителем. Почему же нет подмоги? И кто там за штурвалом «ишачка» делает эти головокружительные виражи, жмет на гашетку пулемета. Если бы можно было сейчас чем-то помочь ему. Но чем?..

А истребитель, после одного из виражей, уже не взмыл круто вверх, а лишь чуть приподнялся, будто вдруг отяжелел, и тут же скользнул, как с обрыва, и понесся к земле, оставляя за собой узенький дымный шлейф.

С минуту все стояли оцепенело, не в силах оторвать взгляда от этой изогнутой, зловещей стрелы, вонзившейся острием в землю в том месте, где за лесистой чертой горизонта упал самолет.

— Все... — выдохнул Ольховский, опуская глаза и неловко поправляя съехавшую на затылок пилотку. — Не увернулся...

— Как увернешься? Он один, фашистов много. Двадцать волков нападут на отару, что один человек сделает? Так и здесь, — сердито, стараясь скрыть откровенную горечь, ответил Ташаубаев.

Феокистов растерянно моргал близорукими глазами.

— Возможно, еще и не все так трагично. Летчик мог воспользоваться парашютом. Упасть не значит непременно погибнуть. Я почти убежден...

— А все-таки горяченького он им подложил. Один за двоих — недурно, — со злым торжеством произнес Адамович, продолжая напряженно вглядываться в небо.

Видно, напоследок летчик успел-таки вывести своим пулеметом еще одну удачную строчку. Второй вражеский бомбовоз падал, отделившись от изломанной и распуганной стаи. Этот не дымил. Снизу, с земли, казалось, что с ним ничего не случилось. И все же он падал. Вот уже яростный рев его мотора выделился из общего шума. Стали видны выдвинутые вперед, как два хищных клюва, моторы, какие-то прерывистые белые полосы вдоль фюзеляжа, застекленная выпуклая кабина.

Пугающая мысль прожгла Андрея: а что если самолет не поврежден вовсе, а летит на их склад специально. Свернул и сейчас сбросит бомбы прямо сюда, где они стоят? Андрей даже зажмурился, весь сжался в ледящем ожидании взрыва. Вот сейчас, через один миг это произойдет...

Грохот ударил в уши, оглушил. Распластанная сумеречная тень упала на землю, скакнула через караульное помещение и понеслась прочь. Грохот покатился дальше. Самолет, непомерно громадный вблизи, пересек наискось территорию склада, едва не зацепив за столбы с электрическими лампами по краям ограды, и стал удаляться. Можно было подумать, что немецкий летчик решил посадить машину — так она низко летела над поляной. Перед самой опушкой леса самолет, словно преодолевая барьер, подпрыгнул вверх, скользнул над вершинами сосен и исчез.

Гулкий толчок качнул землю. Над лесом взметнулось черное облако, перевитое языками огня, столбом уперлось в небо.

— Спекся, — сказал Адамович, странно тихим после взрыва, словно осевшим голосом. Остальные караульные молчали, потрясенные увиденным.

А черный столб дыма над лесом продолжал расти, тянуться ввышину. Вот он качнулся, ветром его наклонило, стало относить в сторону. А на его месте уже вспухали, ворочались, сплетались в жгуты новые аспидно-черные клубы дыма.

— О господи Иисусе! Чистое светопреставление! — воскликнул Уляшев. — А люди-то, люди. С ними что?

— Жарко им,— усмехнулся Адамович.

— И близко, о господи! Рукой подать. Пожара бы не получилось. Сушь ведь, дождя который день нет.

— Разреши, карнач,— Адамович, подобравшись, вскинул ладонь к пилотке. — Смотаюсь в разведку. Как-никак, происшествие вблизи объекта.

В больших глазах бывшего танкиста светились откровенное нетерпение и решимость. Адамович уже загорелся. Такой редкий случай — первому глянуть на сбитый фашистский самолет, разве можно было это упустить?

Трубин раздумывал один миг. Устав караульной службы, предусматривавший, казалось, каждый шаг в его служебных обязанностях, ничего не говорил, как поступить при случае, если вблизи от охраняемого объекта упадет вражеский бомбардировщик. Единственным аргументом была опасность пожара, и Андрей решил.

— Идем,— сказал он. — Кучкильдин остается за меня! Со мной: Адамович, Ташаубаев!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

До места, где упал самолет, оказалось дальше, чем думалось.

По лесу шли уже минут десять, не разговаривая, прибавляя и прибавляя шаг. Адамович с тяжелым огнетушителем на плече взмок. Гимнастерка на спине темнела пятнами. Все трое хранили сосредоточенность и старались подавить волнение. Не занятие по тактике, как-никак боевая обстановка.

Касым Ташаубаев настороженно поводил по сторонам прищуренным взглядом, чувствуя запах гари.

Андрей, как ни старался, не мог унять колотившегося сердца. К нетерпеливому любопытству все ошутимее примешивалось чувство опасности, заставлявшее его то и дело касаться рукой кобуры с пистолетом. До чего все меняется: тяжелый, так надоевший «ТТ» вдруг стал таким необходимым и тяжесть его теперь не ощущалась.

Пожар приближался. С потревоженных взрывом сосен продолжали осыпаться хвоя и чешуйки коры.

Но вот впереди, совсем близко, сверкнуло оранжевое пламя, и все трое, как по команде, замерли на краю прогалины, где бушевал гигантский костер.

Андрей хорошо помнил эту небольшую продолговатую лесную полянку. Сколько раз он здесь отдыхал с отделе-

нием во время занятий хождением по азимуту. На мшистых, оставшихся от выкорчеванных пней холмиках с солнечной стороны росла брусника, а в ямках весной и после дождей стояла вода, желтая, как морковный чай. Поверхность лужиц чертили бесчисленные жуки-плавунцы. Сейчас поляну, затянутую приторно горьким чадом, невозможно было узнать. Кругом все было обезображено, исковеркано, смято взрывом, опалено огнем и продолжало дымиться. Всюду валялись обугленные, скрученные, растерзанные куски дюраля и дерева. А под каждым деревом как будто сначала жгли костер, а потом безжалостно обрывали ветки и секли, уродовали тупыми топорами ствол. Раны зияли сплошь, не успев заплыть смолой. Одна сосна была переломлена пополам, и вершина ее, черная от копоти, изжеванная, скорбно касалась земли, как перебитое крыло птицы. В стволе другой торчал глубоко вогнанный, длинный, сплюснутый на конце металлический стержень. В центре поляны зияла ямища, в которой бесформенной грудой топорщились металлические ребра и прутья, покоребленные и оплавленные, перевитые лентами густого дыма. Запах горелой краски, жженой резины и еще чего-то неведомого наполнял воздух.

Андрей, чтобы не задохнуться, прижимал к лицу пилотку. Ему с трудом верилось, что эти расшвырянные по лесу, догоравшие обломки и есть самолет, который только что пронесся у них над головами, потрясая воздух ревом еще работавших моторов. Адамович, сбросив с плеча огнетушитель и вытирая рукавом мокрое лицо, с жадным любопытством оглядывал поляну. Ташаубаев, пораженный, качал головой:

— Уй-бай! Как шибко падал. Там кусок, здесь кусок. Ямку какую делал.

— Да, ямку. Ничего не скажешь,— подтвердил Адамович, как бы прикидывая заслезившимися глазами размеры воронки. — Посадка не очень мягкая. Бомбы взорвались. С начинкой был пирожок. Хотели других угостить, а пришлось самим потчеваться. Ну что, двинем поближе? Раз уж пришли, надо осмотреть все честь по чести.

— Давай,— согласился Трубин и подхватил огнетушитель.

Кашляя и отплевываясь, они пересекли поляну, приблизившись к горящему самолету насколько было возможно. Адамович на ходу подобрал искореженную тяжелую железину, изумленно произнес:

— Ствол пулемета! Вот сила, а? Сталь скрутило как перекву!

Не выпуская находку из рук, он уже заприметил что-то другое, отошел в сторону и скоро исчез за дымом. Андрей не утерпел, нагнувшись, тоже поднял с земли не успевшую остыть короткую обгорелую латунную трубку с заостренным концом. Не сразу догадался, что это гильза от снаряда. Пороховые газы нашли себе выход, разорвав гильзу сбоку, а пуля — размером с большой палец — осталась торчать в своем гнезде. На донной части патрона отчетливо проступали выбитые латинские буквы и цифры.

Андрей отшвырнул патрон, повернул огнетушитель головкой вниз, ударил ею о землю и направил на огонь кипящую струю пены. Дождавшись, пока баллон опустеет, он поспешил прочь. На опушке остановился, перевел дыхание. Ташаубаев с сожалением трогал прожженный искрой рукав гимнастерки, оглядывался на исходившие белым дымом обломки самолета.

— Все горело. И люди, наверное, горели. Что теперь будем делать, товарищ старший сержант?

— А ничего уже не сделаешь. Пошли,— сказал Андрей, бросая под ноги пустой гулкий баллон. Ему хотелось одного — поскорее отойти отсюда подальше, глотнуть свежего воздуха. Оставаться тут было незачем: пожар на поле не потухал.

Они отступили в лес и остановились, поджидая Адамовича. Тот появился совсем с другой стороны, возбужденный, растрепанный, пилотка съехала на затылок, на подбородке — багровая царапина.

— Немец там... Живой! С парашютом выпрыгнул! — заорал он.

— Как немец? — переспросил, не поняв, Андрей.

— Немец. Форменный. Недалеко тут. Я случайно наткнулся. Взял чуть в сторону, думаю, не отшвырнуло ли чего. А он лежит. Видать, угодил на сосну, самортизировал, а оттуда вниз. Ушибся, конечно. Но не совсем. Ногой на меня дрыгнул.

Живой немец! Неприятный холодок пробежал у Андрея между лопатками. Ташаубаев вскинул винтовку, передернул затвором, неторопливо и четко, как перед заступлением на пост.

— Не надо,— остановил его Адамович. — Он очухаться не успел, говорю. А «пушку» я у него прихватил на всякий случай. Вот,— с торжествующим видом Адамович под-

нял руку. На вымазанной сажей ладони лежал браунинг, плоский и короткоствольный, как пугач.

— А ну-ка,— Андрей осторожно взял пистолет.

— Заряжен,— предупредил Адамович.— Я вроде поставил на предохранитель, но черт знает. Не успел в нем разобраться.

Некоторое время все трое с мальчишечьим любопытством разглядывали трофей. Пистолет подержал каждый.

— Ты что, обыск сделал? — вспомнив о своих командирских обязанностях, строго спросил Андрей.

— Вытащил, чтобы не саданул чего доброго. В финскую был случай, рассказывали. Нашли раненого шюцковца, совсем доходил на морозе. А подходить стали, выстрелил, гад, медсестру ранил.

— Больше ничего не взял?

— А чего брать? Объяснил же.

— Оружие будет у меня,— сказал Трубин, засовывая браунинг в противогазовую сумку.— Веди, где он?

Пройти пришлось метров сто. Немец полулежал возле большой развесистой сосны, на которой болтался разорванный парашют. Он почти разочаровал Андрея своим видом. Это был парень довольно крепкого сложения. На нем был серовато-зеленый френч, плотно облегающий плечи, брюки навыпуск такого же лягушечьего цвета. Головного убора на нем не было. В белесых, спадавших на глаза волосах торчали сосновые иголки, на виске пятном темнела смола.

Немец, очевидно, пытался встать. На лбу у него от безуспешных усилий блестел пот. Теперь он лежал неподвижно, закусив губы и опустив бесцветные ресницы с выражением полного безразличия.

— Очухался,— заметил Адамович, подойдя к нему. Андрей с интересом рассматривал летчика. Фашист. Сколько он читал о немцах, помнил снимки в газетах: солдаты в рогатых тевтонских шлемах, в тяжелых сапогах с широкими короткими голенищами, с каменными лицами за рулем мотоциклов, с пулеметами на дорогах Франции, в горах Греции, на улицах Варшавы. Фашисты в его представлении были не только олицетворением какого-то общего сконцентрированного зла, но и жуткими, звероподобными внешне. А тут ничего подобного, человек как человек. Вылинявшие на солнце брови, лицо в веснушках, большие торчащие уши.

Перед самым вылетом немец побрился. На щеке вид-

нелся порез. Белел, врезавшись в загорелую шею, недавно подшитый подворотничок. Ботинки начищены. От них даже ваксой пахло. И если бы не куцеватый френчик чужого покроя с накладными карманами, с погончиками на плечах и не эти непонятные значки в петлицах и на груди — орел со свастикой в когтях, ничего бы не говорило о том, что это представитель другого, чужого мира, враг. Андрей торопливо перебирал в памяти запомнившиеся немецкие слова, чтобы хоть что-то сказать этому поверженному наземь, чудом избежавшему гибели человеку. Но попытка заговорить не сразу увенчалась успехом. С превеликим трудом Андрей составил фразу на русский манер.

Понял его немец или нет, определить было трудно, но он не ответил и даже не реагировал. Лежал в прежней позе полного безразличия, с полузакрытыми глазами. Андрей только теперь заметил, что рукав френча у немца разодран и виднеется белая нижняя рубашка.

— Вас ист дайне наме? — повторил Трубин. — Нет, погоди. Ви ист ир форнаме? Ферштеин зи?

Кажется, на этот раз он построил фразу более или менее правильно. Но немец промолчал.

— Ви ист ир форнаме? А может быть, шпрехен зи руссиш? Нет? Ферштеин нихт?

— Вот, гад, не хочет разговаривать, — возмутился Адамович. — Понимает, по глазам вижу, а молчит. Ты что ему толкуешь, старшой?

— Спрашиваю, кто он.

— Да не расположен он к беседе, чувствуете? Обиделся за неласковый прием. Не так встретили. Мы сами сейчас установим его личность, — и он шагнул к немцу. Произошла короткая борьба, и Адамович держал в руках содержимое карманов летчика.

— Вот, — протянул он Трубину два разных по величине пакетика. — Если не шоколад, то определенно какие-нибудь документы. Авиаторам выдают шоколад — бортпак. Не сердись, приятель, сам виноват. Тебя же спрашивали вежливо. — Адамович весело, почти přátельски кивнул немцу. Тот уже снова прикрыл глаза, как будто все это его совершенно не касалось. Ташаубаев заметил:

— Наша признавать не хочет. Может, командир средний ему надо. С ним говорить будет?

Андрей и сам заколебался перед тем как развернуть пакеты. Кто знает, возможно, это делать им не положено.

И просто следует взять все и кому-то передать. Но потом мысленно махнул рукой: была не была.

В маленьком пакете лежали карты, обычные игральные карты. Бородатые короли, разодетые красавицы-дамы, бубновый туз в виде квадратного рыцарского щита...

— Любитель перекинуться в двадцать одно, не иначе,— определил Адамович.

— Дай сюда,— Андрей сложил карты, завернул в хрусткий целлофан и взялся за второй пакет. Сверху здесь лежала тонкая, зеленоватого цвета книжечка. На корочке острые готические буквы и вверху уже знакомое изображение птицы: распластанные ястребиные крылья, кривой, повернутый набор клюв, в когтистых лапах венок с паучком внутри — фашистской свастики. Дальше — несколько разграфленных листков — надписи в графах от руки. На первой страничке фотография, приклепнутая печатью,— парень в пилотке пирожком, во френче с эмблемой над карманом. Прямые, рассыпчатые волосы, чуть выбившиеся на лоб. Широкая довольная улыбка.

Андрей с фотографии перевел взгляд на летчика и опять на фотографию. Он!

— Что-то вроде нашей красноармейской книжки,— сказал Трубин в ответ на молчаливое ожидание караульных и перекинул листок. Обозначение граф он не понял, но фамилию, выведенную от руки четким каллиграфическим почерком, разобрал легко. «Кениг Курт. Ефрейтор, 25 лет». Остальные записи чернилами, видимо, означали вещевое имущество, которое числилось за ефрейтором.

Под книжкой лежали письма, пестрые бумажные деньги с изображением усатого старика, несколько фотографий и цветных открыток с видами местности. На фотографиях была запечатлена одна и та же девушка в разных позах. Миловидная, с чуть продолговатым решительным лицом и зачесанными вверх пышными волосами. На всех фотографиях девушка скупно улыбалась, не размыкая тонких, чувственных губ, и была в одном и том же совсем простеньком летнем платье с рукавами до локтей и с широким вырезом на груди. Похоже, что фотограф нащелкал снимков за один прием. Можно было даже подумать, что это одна и та же фотография, если бы не разный фон и предметы на дальнем плане. На одной фотографии девушка сидела, откинувшись на белую каменную стену; на второй она опиралась руками о низенькие и тоже белые каменные перила, а позади нее развertyвалась красивая панорама

холмов, поросших лесом, и остроконечных черепичных кровель небольшого городка.

Эту же панораму воспроизводила и цветная открытка. Только на переднем плане был холм и на холме белоснежная кирха.

В нижнем левом углу открытки Андрей с трудом разобрал надпись мелким шрифтом: «Фельдбург. Ост-Пройссен». Ост. Значит, Восточная Пруссия, местность в Восточной Пруссии. Так вот откуда этот Курт Кениг, ефрейтор двадцати пяти лет. А может быть, оттуда и девушка, что заносчиво глядела с фотографии? Думает ли она, что ее жених или муж валяется сейчас в далекой России.

Адамович с Ташаубаевым заглядывали через плечо начальника караула на открытку и фотографии; один с откровенным интересом, второй — внешне почти равнодушно и одним глазом, другой глаз Касым не спускал с немца.

Андрей, не досмотрев открытки, сложил все в пачку, подал Адамовичу.

— Отдай ему.

У себя оставил только книжку.

Немец взял пачку, спрятал в карман, не посмотрев на подавшего.

— Эй, герр ефрейтор. Вифиль ман им флюгцойг? Вифиль менш? Сколько вас было на самолете? Экипаж. Ферштейн? — спросил Андрей, все еще не оставляя надежды установить контакт с немцем. Но и эта его попытка успехом не увенчалась. Ефрейтор молчал.

— Думаешь, еще кто-то остался? — сказал Адамович. — Экипаж человека три, не больше А два там. Я сам видел. — Он не уточнил где, только кивнул назад.

— Ну все, — сказал Андрей хмуро. — Пошли.

— А как с этим?

— Возьмем с собой. Может он идти? Эй, штее ауф! Встать! Ком нах вахта. Караул!

Немец на его команду не отозвался никак. И лишь после того, как потерявший терпение Ташаубаев клацнул затвором, стал подниматься. Чувствовалось, что делать это ему трудно, но стоило Адамовичу сделать попытку помочь, как немец резко отдернул плечо и быстро, почти пружинисто встал на ноги.

— Гордый, видал ты. Апломб давит. Значит, не очень стукнулся, — заключил убежденно Адамович. — Давай, Касым, показывай ему дорогу. Он тебя хорошо понимает.

В карауле их с нетерпением ждали. Разводящий Кучкильдин сам откинул поспешно засов, едва они подошли к воротам. Оказавшийся тут же Василь Тимошенко во все глаза с нескрываемым изумлением смотрел на пленного.

— Це кто? Неужели немец?

— Гитлер это. Не узнал? — с серьезным видом сказал Адамович, и здесь не упуская возможности подтрунить над парнем.

Немец шагнул в калитку, опасливо покосившись на широкоскулое лицо конвоира.

Прошли к курилке, где собрались все свободные от наряда караульные. Выразительным жестом Касым приказал летчику сесть. Немец опустил на скамейку, ни на кого не глядя. Зато караульные разглядывали его с интересом.

— Н-да, гость,— задумчиво произнес Пряхин, доставая кисет и принимаясь крутить сигарку. — Как это вы его отыскивали в таком виде? Везучий, однако, уцелел.

Андрей с возбуждением рассказал о сгоревшем самолете, показал отобранный у летчика пистолет и солдатскую книжку.

— Ефрейтор, значит. Не велик чин, а гляди, держится. Будто так все и должно быть,— заметил снова Пряхин. Немец, чуть склонившись, одной рукой поправлял рассыпчатые волосы, падавшие на глаза, а второй потирал ушибленное колено. Устремленных на себя взглядов он словно не замечал, как не замечал и самих людей, стоявших вокруг него. И караульные тоже рассматривали немца молча, не без сочувствия. Один Ташаубаев, как бы уже войдя в роль конвойра, оставался сурово сосредоточенным.

Услужливый Василь Тимошенко успел принести Адамовичу воды: на его подтрунивания он не обижался. Адамович, напившись, перевел дух, стряхнул попавшие на гимнастерку капли и поставил котелок на скамейку. Ефрейтор провел по губам языком, кадык его судорожно дернулся. Адамович заметил, усмехнулся:

— Пить-то охота, и гордость не помогла.

— Однако, человек умучился,— пожалел немца Уляшев. — Дай ему водички.

— Потерпит. Захочет пить — сам попросит. Хлеб брюху не кланяется, согласно народной мудрости.

— Дай, чего ты?

— Кто будет? Касым, хочешь? Нет? — Адамович поднял котелок, выждал немного и двинул его немцу. — На, держи, как тебя: Курт или Ганс? Пей.

Тот сначала лишь скосил глаза, чувствовалось, борется с собой. Но жажда победила, обеими руками ухватил котелок и, запрокинув голову, припал к кромке. Струйки потекли с губ на френч.

Феокистов вытащил пачку «Прибоя», выбрал среди помятых папирос ту, что поцелее, поправил мундштук и подал немцу.

— Вот. Немен зи бите. Возьмите. Эх, черт, все позабылось. А ведь когда-то знал немецкий довольно сносно. Дарф их инэн. Айне сигарете.

Немец папиросу взял, оглядел со всех сторон, как какую-то диковинку, и швырнул под ноги.

— Может, ему махры дать, чтобы покрепче? — предложил Василь, оглядываясь на Пряхина: сам он не курил.

— По роже ему съездить следует, — подсказал Адамович.

— Можно угостить и махоркой, — согласился Пряхин. — Только дожدهшься ли спасибо от фашиста?

Феокистов обескураженно моргал.

— Нет, почему же? — возразил он. — Не все немцы обязательно фашисты. Там разные люди, впрочем, как и в любой нации. Обобщать нельзя. Мы же не можем отрицать того, что Германия это не только Германия Гитлера, но и, прежде всего, Германия, давшая миру Гете, Гейне, Шиллера, Маркса и Энгельса и, наконец, Тельмана...

— Бачьте, про Тельмана услышал и сразу ворохнулся! — удивленно заметил Тимошенко. Немец, сохранявший до последнего момента безучастный вид, действительно чуть выпрямился, будто прислушиваясь. Возможно, он просто захотел переменить позу и ничего больше, но Феокистова это вдохновило.

Молчавший на протяжении всего разговора Клевакин знаком попросил Трубина отойти в сторону. Побитое оспой лицо пожарника выражало ту хмурую замкнутость, которая всегда появлялась у него, если Клевакин был чем-нибудь недоволен.

— Слушай, товарищ старший сержант, — начал было он официальным тоном, — не хотел тебе говорить при всех, подрывать авторитет как начальника караула...

В курилке зашумели. Трубин бросился туда.

В первый момент он ничего не понял. Немец лежал

немец, а потом залитый кровью, неживой глаз Феоктистова, и желание пить пропало окончательно. Он переставил на подоконник графин, убрал чернильницу, отодвинул стакан. Надо было что-то делать. Занести происшествие в постовую ведомость или сразу писать объяснение? Но он не мог сосредоточиться. О том, какие последствия ждут его, Андрей старался не думать. Знал, что придется объясняться и за немца, и за истраченный не по назначению огнетушитель, а самое главное, за караульного. Но все это не сейчас, потом.

Вошел, закончив перевязку, Пряхин. Андрей встретил его нетерпеливым вопросом:

— Ну, что?

Пряхин присел на топчан, по-крестьянски, не спеша вытянул из кармана кисет. Сквозь усы обронил:

— Плохо дело, пропал глаз у парня.

— И ничем нельзя помочь?

— К врачу надо. Давай-ка решать: смену подождем или кого-то сейчас с ним послать, чтобы отвезли. Глаз глазом, боюсь, хуже чего не было бы, заражения какого.

Внутри караульного помещения дверей не было. Андрей увидел, как вбежал Ташаубаев, едва не ткнувшись штыком в притолоку, и сердце у него екнуло: что-нибудь с немцем опять. Андрей вскочил, готовый кинуться вон, но Касым загородил дорогу.

— Товарищ начальник караула, разреши доложить. Разводящий послал. — Ташаубаев втянул в себя воздух, и на его скуластом лице промелькнул отблеск знакомой, с трудом сдерживаемой широкой улыбки. — Машина там, товарищ военфельдшер Рита приехала.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Это была редкая случайность, подтверждавшая неписанное житейское правило — случается то, о чем не думаешь и чего меньше всего ждешь. Трубин не думал о встрече с Ритой. Ему казалось, что он уже смирился с невозможностью ее увидеть. И вдруг Рита здесь! Он не то что изумился и не поверил, а просто не понял Ташаубаева: «Товарищ военфельдшер Рита...»

А между тем это была именно она. Андрей узнал ее издали, едва выглянув из караульного помещения. Сразу отодвинулись куда-то все тревоги: и упавший немецкий

самолет, и нелепый случай с Феоктистовым. Ноги от радости и нетерпения были готовы сорваться на бег, а сознание требовало не спешить, успокоиться, подумать о том, что могло привести сюда военфельдшера. Но до чего же привычная, хоженная и перехоженная тропка до ворот оказалась на этот раз короткой. Андрей не успел ни разобраться в возможных причинах появления Риты, ни унять взволнованно колотившееся сердце. Все, что он смог,— это четко, даже излишне четко, по-строевому, поприветствовать военфельдшера.

Ах, если бы он мог просто поздороваться, улыбнуться, взять руку девушки. Но он этого сделать не мог и вскинул коротко ладонь к пилотке, обращая свое приветствие сразу и к ней и к шоферу, хмуро стоявшему возле машины. Но смотрел-то он все-таки на нее одну, чувствуя, что не особенно умеет прятать за внешней сухостью свое душевное состояние.

Кажется, изумилась и Рита, увидев его. Что-то светлое, почти радостное блеснуло в ее глазах. И ушло, погасло за тенью ресниц. Ошибся...

— У вас строгие подчиненные, старший сержант,— сказала Рита с обычной, уже ничего не значащей улыбкой. — И не пускают и не разговаривают без начальника караула.

— Действуют по уставу. Но если нужно, пожалуйста,— Андрей отступил слегка от калитки, освобождая проход.

— Мы спросить только. Ищем начальника склада. Его не было здесь?

— Нет,— сказал Андрей, оглядывая непонимающе машину и угрюмого незнакомого водителя. Рита угадала его недоумение.

— Это попутная машина, я еду на ней в лагеря,— сказала она. — Товарищ из соседней части. Побывал под обстрелом.

— Пакет у меня,— хмуро проговорил шофер. — Зря, значит, ехал сюда. Ну, поехали? — взялся он за дверцу кабины.

— Погодите, Андрей,— Рита впервые назвала Трубина по имени,— я не знала, что вы в карауле. Радио у вас есть? Война. Вот тут у меня,— девушка, торопливо отстегнув пуговичку на кармашке гимнастерки, достала листок с записью дневального. — Читайте. Германия напала на нас. В четыре часа утра.

— Так. Ясно. — Андрей сжал пальцами листок, чтобы он не дрожал. — Не провокация, значит.

— Бои на всем протяжении границы. Передавали правительственное сообщение, и товарищ Молотов выступал. Я тороплюсь в лагерь.

В голосе Риты прозвучали тревога и какая-то виноватость. И жест, которым она поправила пилотку, словно выражал сожаление по поводу этой вынужденной необходимости уехать. Но Андрей не заметил ни этой интонации в словах девушки, ни ее жеста, перечитывая снова и снова обрывистую запись на листке и досадуя, что последняя строчка оборвана на полуслове. Война! Как ни был он внутренне уже подготовлен к этой вести, но она его все-таки ошеломила. Вот и началось. Какое же место займет во всем этом он, Трубин?

— Я возьму его,— сказал Андрей, свертывая листок,— покажу ребятам.

— Да, да,— согласилась Рита,— пожалуйста. Жалко, что я не могу сообщить вам никаких подробностей.

— У нас тут «ЧП»,— сказал Андрей. — Война уже дала о себе знать. — Он коротко рассказал о немецком летчике, о его жестоком поступке.

— В глаз кулаком? Ужас! — Рита поежилась. — Вы приняли какие-нибудь меры?

— Перевязали.

— Я должна посмотреть,— сказала она решительно. — Можно пройти? Где он? Товарищ водитель, я сейчас. — Рита взяла санитарную сумку, пошла в караульное помещение. Андрей, оставив с шофером возле ворот караульного Тимошенко, пошел следом.

Рита, усадив Феоктистова к окну, осторожно перебинтовывала глаз. Рядом с видом ученика, ожидавшего оценки от строгого учителя, стоял Пряхин. Феоктистов держал в руках разбитое пенсне и покорно старался не шевелиться. Перевязка причиняла ему боль, но он не подавал виду, и только бескровные губы его чуть вздрагивали.

— Вы правильно наложили повязку,— сказала Пряхину Рита, обрезая маленькими ножницами концы распушившейся марли. — Бинт стерильный?

— Из индивидуального пакета, товарищ военфельдшер.

— Ну все. А теперь покой, не делать резких движений. Лучше лечь на спину,— Рита склонилась над сумкой. — Товарищ старший сержант, на минутку.

Они вышли из караульного помещения, остановились

на немца, военфельдшер ответила, что ей это противно и не позволяет время.

Феоктистова, смущенного своей беспомощностью и еще более неловкого, чем всегда, усадили в машину. Шофер, недовольный задержкой, хлопнул дверцей кабины.

Как позавидовал ему Андрей! Чего бы только не отдал он за возможность оказаться на его месте рядом с Ритой. Ехать в одной машине добрых двадцать километров, какое это счастье!

Но счастье оказалось не для него, и он только козырнул вслед тронувшейся полуторке.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

... Утром у разобранного моста через лесную речушку на Култаева наткнулись связисты, прибывшие для исправления телефонной линии. Они растерянно крутились вокруг лейтенанта, не зная, что делать. Лейтенант с трудом приподнялся. Боль в плече напомнила о случившемся. Он с тревогой спросил:

— Что-нибудь произошло?

Связисты пожали плечами.

— Рубашку нижнюю разорвите, — приказал Култаев.

Связисты располосовали чистую накрахмаленную рубашку на ленты и стали перевязывать кровоточившую рану.

Немного отдохнув, Култаев поднялся. Связисты помогли ему взобраться на машину и подвезли до летних лагерей. Распроставшись с ними, лейтенант вошел на окруженную проволокой территорию. От встретившегося начхозна Култаев узнал, что началась война с Германией, что полк, поднятый по тревоге, ушел и что намеченных на воскресенье проверочных командирских стрельб не будет. Лейтенант коротко рассказал о своих злоключениях ночью и поспешил в обратный путь. Немного его подвезли артиллеристы, потом он шел пешком, а затем попался попутный автофургон с кинопередвижкой. Шофер, он же киномеханик, гражданский паренек, ездил за новым фильмом для сельского клуба и теперь спешил попасть домой.

Они двигались навстречу тревожному гулу, опоясывающему горизонт, по дороге, на которую уже наложила свой отпечаток война. Сначала им мешали подводы с беженцами, потом огромный тысячеголовый гурт скота, принад-

лежавший какому-то совхозу, и, в довершение ко всему, за ними увязался немецкий самолет. Он неожиданно с ревом вынырнул из-за леса и уже не отставал. Раз за разом настойчиво заходил фашистский летчик то спереди, навстречу машине, то сзади, норовя ударить по ней пулеметной очередью, пока наконец не добился своего.

Оглушенный ревом мотора и стрельбой, Култаев не услышал удара пуль по машине и только вдруг почувствовал, как шофер, лихорадочно крутивший баранку, припал к ней головой и грузно пополз с сиденья.

Машину занесло вбок, и она угрожающе накренилась над кюветом, дымя развороченным радиатором. Култаев неловко, через шофера, потянулся, пытаясь вывернуть липкий от крови руль. Над головой, уже не стреляя, довольный сделанным, пронесся еще раз остроносый истребитель и скрылся.

Култаев выбрался из машины, одной рукой с трудом вытянул за собой убитого шофера, волоком перетаскил через придорожную канаву. В кузове фургона, подожженные пулями, глухо лопались коробки с кинолентой, ядовито-зеленоватый дым валил из всех щелей.

Выбившись из сил, лейтенант не сразу обратил внимание на возникший впереди, за поворотом дороги, шум. Стремительно накатываясь, он бил тугой волной по барабанным перепонкам. Сквозь серую завесу пыли расплывчато проступил силуэт машины. Танк! — понял лейтенант. — Чужой.

По внешнему непривычно-пятнистому виду, по короткой, будто обрезанной пушке, торчавшей из угловатой башни, и, главное, по крестам, наклеившимся белой краской на пыльную броню, можно было сразу определить: фашистский!

Танк сотрясался всем своим массивным корпусом. Зловеще плавилась на солнце его до блеска отшлифованные траки. В башне танка, высунувшись по пояс из круглого люка, стоял немец. Он был без шлема, загорелый и потный, в рубашке, с закатанными по локоть рукавами.

Култаев на какие-то доли секунды ощутил себя словно вне времени и пространства. Война, еще совсем недавно, какой-то час назад, казавшаяся хотя и грозной реальностью, но все же чем-то отдаленным, стояла рядом, глядела ему в глаза черным глазом танковой пушки. Нет, не страх и не желание снова припасть к земле, спрятаться в траве испытывал в эту минуту лейтенант. В нем закипа-

ли гнев и тревога за свой взвод, за тех, кого враг мог настичь на дороге. Култаев понял: прорыв! Теперь ему стало ясно, почему артиллеристы, с которыми он ехал, устанавливали пушки возле дороги.

Осмотришься немец-танкист чуть внимательнее по сторонам, и он наверняка заметил бы возле дороги советского лейтенанта. Но немец не смотрел по сторонам. Ему некогда было присматриваться к малозначащим предметам. Ему нужно было рваться вперед и вперед, к заранее намеченному и вызубренному на память по карте рубежу. Он видел только то, что было непосредственно перед его глазами, у него на пути. В данном случае он смотрел на горящий фургон, загоравшийся наполовину узкую дорогу.

Но вот голова его скрылась в люке. Танк сорвался с места, ударом тарана откинул обломки машины в сторону и покатил дальше, набирая скорость и увлекая за собой грохочущий шлейф из танков и грузовиков с солдатами.

Култаев дождался, пока колонна прогромыхла мимо. Потом отполз от дороги в лес, встал, стянул с себя плащ, нестерпимо давивший на раненое плечо, и пошел вперед, не замечая хлеставших по лицу веток. Позади, там, куда устремился прорвавшийся противник, вдруг часто и торопливо, словно наперебой, застучали приглушенные расстоянием орудийные выстрелы. Култаев догадался: это немцы наткнулись на нашу батарею. Он постоял, прислушиваясь со злым торжеством сквозь звон в ушах к отдаленным звукам боя, и двинулся дальше.

Вскоре на лесной дороге ему встретилась группа красноармейцев. По высокой, чуть сутуловатой фигуре Култаев узнал сержанта Васю Коржова. Это были бойцы его взвода, возвращавшиеся из городка летчиков.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В караульном взводе Христофор Экштейн отличался дисциплинированностью и не только не имел за время службы взысканий, но и замечания от командиров получал редко. Принадлежал он к числу тех бойцов, которые любое, пусть самое незначительное, приказание выполняют со всей аккуратностью. Старшина Барабанов особенно высоко ценил в нем это качество и прощал нерасторопность.

Вот почему, хотя весть о войне и вывела Экштейна из равновесия, он не забыл о цели своего прихода в городок и, едва выслушав встревоженного дневального, рассказавшего ему о правительственном сообщении, отправился в столовую за солью. Взяв сколько нужно, он прихватил в казарме шесть писем, четыре из которых Феоктистову, и, к огорчению дневального, истомившегося в одиночестве, заторопился в обратный путь в такой степени, в какой способен был торопиться по своей не очень-то склонной к поспешности натуре.

Но все-таки сознание ответственности заставляло его ускорять шаг. Война, а товарищи в карауле ничего не знают, значит, надо торопиться, поскорее сообщить. И от этого беспокойства, которое росло в нем, знакомая улица показалась ему не такой, как всегда. Вокруг все как будто затаилось и примолкло.

Зной даже бабуку Несенко загнал в хату. Среди подсолнухов, в огороде, не белел ее платок. Зато у ворот своего дома, как всегда, торчала сухопарая фигура пана Поплавского. Наверное, по случаю воскресного дня пан Поплавский был празднично одет в черную суконную пару с серебряной цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана, и в блестящие сапоги. Голову его, несмотря на жару, покрывала теплая фетровая шляпа с белой ленточкой.

Христофор, по укоренившейся с детства привычке выражать уважение к старшим, на ходу козырнул слегка старику. Обычно пан Поплавский в ответ с готовностью приподнимал шляпу, кланялся, подобострастно ронял:

— День добрый, пан жолнер.

На сей раз он не ответил, будто вовсе не видел проходившего мимо красноармейца, и только метнул колючим взглядом. Сухие губы его тронула усмешка, скупая и словно торжествующая.

Экштейн никогда не занимал вопрос о его национальной принадлежности, да и не было в том нужды. Он — немец, другой — украинец, какая разница? А сейчас, когда он вспомнил о войне, его словно что-то толкнуло. Война же с Германией. На Советский Союз напали немцы, немцы — враги. Но ведь Экштейн тоже немец. Другой немец, не имеющий никакого отношения к Германии, но немец. С немецкой фамилией, родным немецким языком. И впервые в жизни ему стало неловко за свое происхождение. Заранее неловко перед товарищами. Вот сейчас он придет в караул, скажет о том, что на Советский Союз напали

— Поготи, отец,— сказал Экштейн, заприметив валяющуюся неподалеку жердь. — Попробуем использовать законы физики.

Христофор не любил бегать, но тут побежал за рычагом. Времени не оставалось. Гул моторов наполнил лес. Он едва успел подхватить с земли жердь и повернуть, как на дорогу, в клубах пыли и дыма, выкатил танк, за ним с ревом и клацанием второй. Сквозь пыльную завесу тускло заблестели стекла автомашин. Остальное все произошло, как в страшном сне. Танк, набирая скорость, ударил в бричку, разметал бревна и, перевалив через них, покати́л дальше.

Экштейн на минуту словно ослеп и оглох от этого внезапного кошмара, а когда пришел в себя, то увидел, что к нему бегут люди в серовато-зеленой форме, с короткими автоматами наперевес. Одни со стороны дороги, другие, соскочив с грузного слоноподобного грузовика, свернувшего в лес.

По одежде и по отдельным словам, выделявшимся из общего шума и гвалта, Христофор понял, что перед ним немцы. Безотчетно он взмахнул жердью. Но круг уже сжался, у него вырвали жердь из рук, навалились. Удар в затылок сбил его с ног.

В следующий миг его поволокли, подталкивая ударами, с хохотом и криками, как загнанного зверя.

Приволокли почти к самой дороге, опять ткнули сзади прикладом автомата, чтобы не вздумал сопротивляться, отпустили заломленные руки, толпа раздалась, и он остался стоять один посреди шумного полукруга.

Привычка к аккуратности во внешнем виде и здесь взяла верх. Экштейн, растрепанный в свалке, поднял было руки, чтобы поправить съехавший набок ремень, но резкая команда по-немецки остановила его:

— Стоять смирно! Не шевелиться!

Теперь только он увидел человека, стоявшего перед ним ближе всех остальных, плотного, низкорослого, будто вдавленного в землю, с тяжелой челюстью и холодным прищуром глаз под козырьком фуражки, по виду командира. Но еще раньше Экштейн заметил бревна, раскатанные по обочине дороги, ступицу раздавленного колеса и рядом втоптанное в колею, нечто бесформенное и страшное, похожее на кучу тряпья, в которой можно было узнать лишь сплюснутый соломенный брыль.

По сигналу немца солдаты бросились к Христофору, вывернули карманы. Комсомольский билет в обертке из пергамента, деньги, письма, носовой платок, который подарила ему однокурсница перед его отъездом в армию, — оказались в руках офицера. Тот, не снимая кожаных желтых перчаток, быстро все рассортировал: носовой платок он швырнул под ноги, туда же полетела потрепанная, полученная бойцом еще зимой из дому, тридцатка; письма тоже не привлекли его внимание, но комсомольский билет офицер перелистал и рыжая, припудренная дорожной пылью бровь его удивленно вздернулась.

— О, это любопытно! Не просто русский — комсомолец с немецкой фамилией! Я не ошибаюсь, а?

— Ты кто? — видя, что пленный не отвечает, повторил он свой вопрос на ломаном русском языке. — Фольксдойч? Есть немецкий человек? Это так?

Но Экштейн и без перевода понимал и его и те реплики в свой адрес, которые раздавались в толпе. Ошеломление и страх за себя, сковывавшие его в первые минуты, уже отступили, и, хотя сознание беды, непоправимой беды, случившейся с ним, продолжало щемить сердце, Христофор нашел в себе силы оглянуться по сторонам, почти изумленно окинуть взглядом окружавшую его толпу. Неужели эти пыльные, обвешанные оружием, веселые, теснившиеся возле него и ехавшие по дороге в машинах и на танках, готовые все топтать и рушить на своем пути люди — из Германии? Из той Германии, о которой с таким уважением говорили у него дома, пели ее песни, увезенные оттуда с собой давным-давно, рассказывали сказки, родившиеся там, из той Германии, которая умиротворяюще глядела на него с цветных олеографий, бережно хранившихся у бабушки в сундуке.

И вот теперь Германия перед ним. Только не та, красивая, загадочная, какой представлялась, а какая-то страшная, нелепая. Она сама пришла к нему в лице этой гогочущей серо-зеленой толпы, офицера, листавшего рукой в перчатке его святая святых — комсомольский билет, рычащих грузовиков, пушек на прицепах, лязга и грохота. Экштейн охватил гнев. Ком сдавил его горло, его душила злоба, яростная злоба на этих людей за то, что они держат его за руки, не давая пошевелиться, копаются в его документах, на глазах у него раздавили танком ни в чем не повинного человека, за то, что они вообще здесь, на его земле.

После того как ушла машина с Феоктистовым, время в карауле словно остановилось. Ожидание смены сделалось настоящей пыткой. Всем хотелось скорее попасть в часть, освободиться от мучительного чувства оторванности. На ум не шло ничто другое, кроме мыслей о войне, и кто-нибудь заводил и заводил разговор на эту тему, хотя, казалось, все, что можно было сказать, уже сказано. Мнения сходились на одном: ненадолго война. Каждый старался привести в подтверждение побольше доводов.

Трубин больше всего жалел, что нет под рукой хоть какой-нибудь плохонькой карты. Он мысленным взором окидывал западную границу Советского Союза, ее ломаную черту, начинавшуюся где-то далеко в Заполярье, на каменистом берегу Баренцева моря и обрывающуюся тоже у моря — Черного, и также в мыслях ставил себя то на один, то на другой участок, на место тех, кто дрался там с врагом. Бои на всем протяжении границы. Слова эти из правительственного сообщения не выходили у него из головы. И его не оставляло беспокойство — не опоздать бы! Поездка в училище откладывается, это уже ясно. А вот как дальше? Как скорее решить вопрос, чтобы не остаться опять в стороне?

Беспокойные эти мысли перемешивались с тревогой о Рите, заставляли Андрея сердиться на вынужденное бездействие и без конца глядеть на часы.

...А смены не было. Все давно собрались с оружием, со скатками через плечо, ждали в курилке, посматривая с нарастающим нетерпением на дорогу: не покажется ли из лесу строй? Больше всех волновался Адамович.

— Не спешат друзья! Этак и всю войну проворонишь, сидя тут возле «объекта», — говорил он с деланным равнодушием.

— Не бесись, — урезонивал его Прякин, — успеешь.

— Успею ли, — разводил руками Адамович. — Денек два, и песенка фашистов будет спета. Подкинут наши танковых бригад, и конец.

Адамович умолк, прислушался.

Порыв горячего ветерка донес издали приглушенный, будто идущий из земли гул моторов. Все стояли, молча вслушиваясь.

— Точно, танки! — заключил Адамович. — Огонь плюс гусеницы — и порядок полный.

— Твои бы слова, да так, чтобы в точку. Куда лучше.

— А вы, товарищ Пряхин, вроде как сомневаетесь в силе Красной Армии? Или к чему гнете? — сказал не принимавший до этого участия в разговоре Клевакин, и маленькие, глубоко посаженные глаза его настороженно сузились, как от яркого света.

— Верно, Гну,— согласился Пряхин, с невозмутимым видом прижимая обкуранным пальцем окурочек «козьей ножки». — Гну к тому, чтобы парень понапрасну не расстраивался и не горевал.

— Это в каком смысле?

— А в таком, что беда, судя по всему, такая, что не обожит никого, на всех хватит. Дела серьезные,— продолжал Пряхин в раздумье. — Бои по всей границе. Если прикинуть, какой это фронт? Сколько их лезет, фашистов, на нашу землю и сколько нам надо сил, чтобы задержать. Мало задержать, разбить. Гитлер, прежде чем напасть на нас, чуть не полмира к рукам прибрал. И нелегко нам придется, нет,— боец покачал головой в хмурой задумчивости. — Хочешь не хочешь, а надо настраивать себя на большую войну, на очень большую. Я так полагаю.

Клевакин на этот раз промолчал. Разговор оборвался. Курилы, поглядывая на пустынную опушку леса, исчерпав на время какие бы то ни было предположения.

— А все же что с нарядом? Где они застряли? — не вытерпел Адамович. — И Камешек ушел — ни слуху ни духу...

Адамович не договорил, на опушке леса показался человек. То, что это не Экштейн, все поняли сразу — слишком хорошо знакома была всем медленная, вразвалку, походка Христофора. А этот человек шел торопливо, чуть прихрамывая, опираясь на палку. Вскоре караульные узнали в нем шофера с полуторки и, не сговариваясь, подталкиваемые тревожным предчувствием беды, двинулись навстречу.

Красноармеец был без пилотки, с потным, исцарапанным в кровь злым лицом. Подойдя к ограде, он привалился плечом к столбу, молча, словно не замечая обращенных к нему вопросительных взглядов, провел рукавом по лицу, размазывая кровь. Потом отбросил от себя кривую, подбранную, наверное, где-то в лесу сучковатую палку, морщась от боли потрогал колено.

— Вернулись мы,— хрипло, как от простуды, произнес он с усилием. — Немцы там. Военфельдшер с вашим бой-

цом остались,— шофер махнул рукой в сторону леса и, почувствовав недоумение караульных, поспешил добавить: — Из сил выбились... Недалеко они... А я сюда, к вам. Чтобы помогли.

Шофер умолк, и все молчали, сбитые с толку его словами. Что-то уж чересчур невероятным, трудно уяснимым было: «Немцы там...».

— Что произошло, можешь рассказать? — тронул его за плечо Андрей.

— А что рассказывать? Мы к шоссе, а они прут, сволочи. С техникой. Орда ордой. Машину там оставил. — Парень в бессильной горечи закусил припухлые губы, сказал сердито и требовательно. — Вы давайте, скорее посылайте за вашими... Раненый-то расписался совсем. Еще деваха молодец, почти тащила на себе.

— Погоди,— перебил его Андрей. — Твоя фамилия?

— Зайцев я.

— Все ясно, Зайцев! Покажешь, где остался военфельдшер! — приказал, стараясь не выдать своих чувств, Андрей и, уже обратившись ко всем, помимо своей воли вкладывая в слова тревожный смысл, скомандовал:

— Караул, в ружье!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Здесь, в зарослях тальника над ручьем, вдоль которого лейтенант Култаев вел полувзвод на соединение с остальными бойцами, охранявшими склад, было до безмятежности тихо, почти уютно от зеленоватого предвечернего полумрака, но все помнили, что совсем рядом, на дороге, враг, и как только идущий впереди лейтенант Култаев с толстым от повязки плечом под пропотевшей гимнастеркой поднял предостерегающе руку,— бойцы остановились и залегли в кустах.

К ручью подкатила машина. Донеслась чужая речь. Лязгнула дверца кабины. На обочине шоссе показалась высокая фигура солдата с ведром в руках. С минуту он стоял, выбирая, как удобнее спуститься к ручью. Его о чем-то спросили из машины, немец весело ответил и, помахивая ведром, сбежал с насыпи.

Это был парень лет двадцати, сухопарый и долговязый. Насвистывая, как какой-нибудь беззаботный рыболов, подошел к ручью, выбрал упор для ноги, попробовал, про-

чен ли. Оглянулся на всякий случай по сторонам, без особой опаски, явно довольный тем, что выпала возможность покинуть, пусть ненадолго, душную, накаленную солнцем кабину. Потом склонился, зачерпнул воды. Но как было оторваться, бежать к машине, если рядом бурлила вода, такая соблазнительно прохладная. И немец не устоял, оставил ведро, присел на корточки, черпая воду пригоршнями, напился, ополоснул лицо и потом, войдя во вкус, стал мочить голову и шею.

Бойцы, впервые видевшие врага на столь близком расстоянии, в напряженной тишине следили за ним. Култаев успел перехватить руку лежавшего рядом с ним младшего сержанта Аветисяна, нервно шарившего возле себя камень.

— Ударю. Я не промахнусь, товарищ лейтенант. Вот увидите. Гранату бросал хорошо, на сорок метров, сами знаете. Подползу по-пластунски, шлепну! — шептал сдавленным от волнения голосом с горячностью южанина командир отделения.

— Тихо, Аветисян!

Не могу. Тошно смотреть, как он фашистскую морду макает в нашу воду. Поганит. Надо, чтобы он захлебнулся.

— Выдержка, младший сержант! Выдержку имей! И голову спрячь, демаскируешь себя повязкой. Смотри на врага — и это полезно, пригодится.

Между тем в машине, видно, обеспокоились долгим отсутствием водителя. Опять лязгнула дверца, донесся голос:

— Гельмут, во бист ду?¹

Немец тряхнул мокрыми волосами, откликнулся весело:

— Их бин хир!²

— Вас гибт эс дорт бей дир? Во бист ду ден дох?³

— Вассер! Герлихес вассер! Гебхафтес вассер, герр фельдфебель! Комм хир! Эс вирд дир них шаде зеин!⁴

С минуту немцы перекликались. Тот, что стоял на дороге, по голосу — командир, колебался, не шел к ручью. Но призыв шофера уже возымел действие. Слышно было, как загрели борта, забухали сапоги о булыжник — солдаты соскакивали с машины. В следующий момент к речке с насыпи ринулась с гогом толпа человек в пятнадцать,

¹ Гельмут, где ты?

² Я здесь.

³ Что там у тебя, где ты пропал?

⁴ Вода! Чудесная вода! Живительная влага, господин фельдфебель. Идите сюда, не пожалеете.

обгоняя и подталкивая друг друга, расстегивая на бегу кургузые френчи.

Солдаты, дорвавшись до воды, возились и галдели, как в общественной бане. Сквозь хохот, фыркание, шлепки прорывались отдельные фразы:

— О, водичка прекрасная! Гельмут знает дело, заприметил удачное местечко для остановки!

— Он всегда умело примечает, что ему надо. Глаз наметан, как у настоящего завоевателя.

— А я, честно говоря, не предполагал, что в России есть такие очаровательные уголки. Вы посмотрите, какая зелень! А аромат! Когда мы пришибем большевиков и будем получать вознаграждение, я выхлопочу себе участок земли, подобный этому. Чтобы была река, лес, ну и, конечно, неподалеку дорога.

Ни лейтенант Култаев, ни бойцы ничего почти не поняли из этого разговора немцев.

Неизвестно, как случилось, но кто-то из бойцов не выдержал напряжения, шевельнулся, хрустнул набравшим во влажной почве соку травяным стеблем. И немцы уловили этот звук. Они сначала насторожились, потом кинулись к одежде. Хватали автоматы. Один, здоровый полуголый фашист, двинулся к кустам.

Лейтенант Култаев похолодел. Секунда — и перепуганный немец полоснет по ним очередь. Счет жизни Култаева и его бойцов шел на мгновенья. Как выиграть этот миг, возможно ли? И возможно ли дважды в один день?

Эх, если бы не плечо и не эта непослушность левой руки! Он все-таки сделал над собой отчаянное усилие, шагнул вперед, выхватив из кобуры пистолет. Но Вася Коржов опередил его. Как подброшенный пружиной, вскочил, кинулся на немца, повалил, прижал лицом к земле, стиснул на горле пальцы. Задыхаясь, тот все же успел издать вопль.

К зарослям кинулись остальные фашисты.

— Руссен! Хир зинд руссен!¹

Воздух дрогнул от автоматных очередей, посыпались срезанные пулями ветки.

— В лес! Быстро всем в лес! — крикнул Култаев.

Вася сорвал с поверженного немца автомат, торопливо передернул затвором. Не зря же в караульном взводе за ним закрепилось прозвище «мастеровой»: одного взгля-

¹ Русские! Здесь русские!

да для него было достаточно, чтобы понять, как пользоваться трофейным автоматом. Из кустов, навстречу бежавшим немцам, хлестнула ответная очередь.

— Коржов, давай в лес! Немедленно! — потянул его за собой Култаев. Они побежали, преследуемые выстрелами, криками, цоканьем пуль по стволам деревьев. Вася, отстреливавшийся на бегу, вдруг приостановился, выпрямился, уронил автомат и пошел, запинаясь, забирая в сторону.

Култаев, оглянувшись, не узнал его: Вася весь побледнел, широкие, светлые, как ковыль, брови, обычно незаметные, отчетливо проступили на лбу.

— Ты что? — успел подхватить сержанта Култаев. — Надо уходить!

Тот вяло отмахнулся, закашлялся, хватаясь за грудь.

— Ранен? Держись, друг. Я тебе помогу, идем.

— Не надо, товарищ лейтенант. Все. — С трудом выговаривал Вася, и на губах у него запудрилась кровь.

А выстрелы продолжали греметь, но уже не приближались. Немцы не уходили от дороги.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ночь медленно, будто нехотя, вступала в свои права. Солнце зашло, а небо над лесом горело и горело, не потухая, широкой багряной полосой. Сумерки прозрачными тенями висели в воздухе и словно не могли опуститься на землю. Зной не спадал. А может быть, так казалось от нервного напряжения, от беспокойных ожиданий, которыми жили все в карауле с того момента, как стало известно о появлении немцев?

Сомнений в том, что война пришла, уже не оставалось. И не только пришла, но и катилась дальше. Уханье пушек доносилось в тишине откуда-то уже издали. В любой момент немцы могли появиться и здесь, возле складов. Все в карауле это понимали и, сами не зная для чего, с нетерпением ожидали ночи, как будто ночь могла что-то изменить. Споры, предположения, различные доводы — все кончилось. Теперь каждый занимался своим делом.

Андрей Трубин приказал часовым занять окопы, выставил дополнительные посты, проинструктировал, в каком направлении и по какому сигналу открывать огонь. Сделал все, что полагалось по уставу на случай боя.

В силу обстоятельств Трубин превратился как бы в коменданта гарнизона, а территория склада в своего рода крепость, которую надо защищать. И он готовил ее к обороне.

Вот игодились патроны из неприкосновенного запаса в караульном помещении, которые он не без досады пересчитывал каждый раз при заступлении в наряд. И ручной пулемет, казавшийся лишним, поставили против ворот, нацелив на опушку леса, откуда вероятнее всего мог появиться враг.

Андрей уже понял серьезность положения, в котором оказался состав караула. Немцы рано или поздно узнают о складе и явятся, но когда, в каком количестве? Вот что хотелось знать.

Начиналась тревожная ночь. Пустовала курилка, не маячили фигуры часовых возле грибков, не сияли белыми звездами фонари на столбах по углам ограды. Лишь в окне конторы склада желтел огонек керосиновой лампы: это Рита устраивала санчасть. Феоктистову стало хуже, и она настояла на том, чтобы положить раненого в отдельном помещении.

В парном окопе напротив ворот возился возле ручного пулемета Ташаубаев. Из-за бруствера, заново поправленного и замаскированного травой, торчала его голова в линялой, нахлобученной до самых бровей пилотке. Ему, как лучшему стрелку, начальник караула доверил пулемет, и Касым, преисполненный чувства ответственности, наверное, в десятый раз принимался проверять прицел, диск, сошки.

За второго номера у него был шофер с полуторки, Зайцев. Парень, не перестававший переживать потерю автомашины, с угрюмой сосредоточенностью орудовал малой саперной лопатой, углубляя окоп. Его не было видно, только глухо звякала его лопатка о гальку. Оба занимались своим делом молча.

Шагах в десяти из одиночной ячейки торчала голова Адамовича. Он тоже наскоро поправил осыпавшийся окоп и теперь откровенно скучал, перебрасываясь изредка словами с Ташаубаевым, не очень-то склонным к разговорам. Наконец Адамович не выдержал, вылез из окопа и подполз к пулеметчикам, держа в зубах незажженную папиросу.

— Ты чего пришел, пост бросил? — покосился на него

Ташаубаев, убирая торчавший на бруствере сухой стебелек.

— Вы все устраиваетесь. Не зимовать собрались? — заглянув в окоп, удивился Адамович. — Эй, шофер, хватит. Этак можно землю насквозь прорыть и на обратной стороне выбраться в Америке.

— Зачем пришел? Обстановка забыл? — повторил недовольно Ташаубаев.

— Да ты не хмурься, Касым. Береги нервы, — посоветовал Адамович. — В свой окоп я в два прыжка. Прикурить хочу, за огоньком приполз. Сколько терплю без курева.

— Нету спичек. Кто курит, у того спрашивай. Я не курю. Не знаешь?

— Извиняюсь, забыл.

— У меня есть спички. Возьми, — сказал, выпрямившись в окопе, Зайцев и протянул коробок.

— Вот спасибо, выручил. Прикурю и удалюсь, — пообещал Адамович с серьезным видом. Он чиркнул спичкой, затянулся дымом, но удаляться не спешил.

— Вы тут прямо-таки линию обороны сооружаете, — сказал Адамович, стараясь оттянуть время. — Смотри, Касым за пулеметом ухаживает, как за девушкой.

— Куришь — кури, болтай меньше. Понял? — Касым, помолчав, добавил: — Погода меняться будет. Ветер будет.

— Все переменится, — глухо произнес Зайцев, вправляя в мундштук большими потемневшими пальцами сломанную папиросу и стараясь не рассыпать табак. — Фашисты вон уже где...

— А повернуть их нельзя в обратную сторону? Фашист же из костей и мяса сделан и пулей пробивается не хуже любого. Слышишь, бухает? Где-то дают им прикурить, — возразил Адамович.

— Наши, наверное! Наш, гаубичный! — оживился, прислушиваясь, шофер. — Я же в артполку служил. В боепитании у младшего воентехника. Ранен он. Завернули мы в хату. Село там у дороги, перевязку сделали. Там он и остался. «Гони, говорит, с пакетом. Заявки в нем важные. На обратном пути меня захватишь». Вот тебе и захватил. Если бы знал, что так получится, не поехал бы, не бросил бы его. — Парень с досады поморщился.

— Не горюй, подождет тебя воентехник. Дадим фашистам под дых, и заберешь его. Прикуривай, — протя-

гивая ему свою папиросу, мягко сказал Адамович. Шофер, волнуясь, долго тыкался кончиком папиросы, роняя пепел, чмокал, втягивая щеки с проступившей редкой щетиной.

— И машину жалко,— сказал он, наконец прикурив,— почти новая. Я же ее берег. Думаю, уходить буду — так чтобы без всяких замечаний и чтобы кому после меня ездить придется, не обижался. Мне же осенью домой, осталось всего каких-то два-три месяца. И вот,— Зайцев откинулся спиной на стенку окопа, посмотрел куда-то далеко, на первую, чуть пробивавшуюся сквозь зарево вечернюю звездочку.

— А чего «вот»? — понимая состояние парня, осторожно переспросил Ташаубаев. — Мало разве два-три месяца? Война кончаться будем — поедешь. Осень будет. Диск давай запасной, сюда клади, ближе! — вдруг прикрикнул он. — Зачем земле оставлял?

Шофер послушно переложил на бруствер протертый, воронено поблескивавший запасной диск, с надеждой глянул на своего сурового старшего.

— Думаешь, до осени, не больше?

— Осень, где она? Лето только начало. Десять раз можно прогнать фашиста.

— Нашел, в чем сомневаться. Явишься домой точно к сроку, будь уверен,— поддержал Ташаубаева и Адамович.

— Как приеду,— сказал, загораясь надеждой, шофер,— сразу на работу на свой завод, место обещали за мной сохранить — на дизеле я там работал, на электростанции. Подзашибу малость деньжонок, и можно семейный вопрос решать.

— Касым, чуешь? — подмигнул Адамович. — Пахнет свадьбой. Можно рассчитывать на приглашение?

— Только бы домой попасть! — отозвался Зайцев. — Открою ворота перед всеми, заходи, кто хочет!

— Вот это верно! Но нас ты вызови заранее, до открытия ворот. Меня — дружкой, Касыма — поваром. Сготовит тебе такое блюдо, век не забудешь. С молодой женой ночевать останешься, а все будешь думать. Как это называется по-казахски: в котел целиком барана, голову — почетному гостю?

— Бесбармак,— подсказал Ташаубаев.

— Во-во, бесбармак. Не кушанье — объединение!

— У нас на свадьбу пельмени делают обязательно. И еще чтобы не из очень белой муки: сочни прочнее, что-

бы сок не выливался,— сказал Зайцев и двинул щетинистым кадыком, глотая слюну.

— Бесбармак тоже должен быть. Мясо горячее, жирное, ум съешь!

— Ай, Федор, хвалишь, а сам ел бесбармак?— спросил Ташаубаев.

— Не ел,— согласился Адамович.— Но как говорится: сам не едал, зато дед видал, как другой едал. На твой опыт полагаюсь, Касым. А вообще,— Адамович чуть повернулся пабок, потрогал с мечтательным видом живот,— съел бы я сейчас что угодно, не только мясо, но и подошву от старого сапога.

— Милжин¹ ты, болтаешь много,— поморщился Ташаубаев.— К себе в окоп иди. Чего пришел? Пустой разговор ведешь.

Ташаубаев готов был прогнать Адамовича на свое место, он уже сердито свел густые, будто сажей наведенные брови, но Зайцев, пристально смотревший через бруствер, схватил его за локоть, показывая взглядом на опушку леса.

— Смотрите...

Адамовича как ветром сдуло. Он ужом скользнул к своему окопу, решив, что шофер увидел немцев.

Но Ташаубаев, прильнувший было к пулемету, тут же убрал палец со спускового крючка. Зоркие, привыкшие к степным далям глаза вчерашнего пастуха в сумерках легко различили лошадь. Она стояла на опушке, слегка выдвинувшись из-за деревьев, потом шагнула и снова остановилась, вскинув голову и точно прислушиваясь.

Шофер и Ташаубаев, соревнуясь в зоркости, вглядывались в расплывчатую стену леса.

— Оседланная, что-ли, лошадь? Вроде стремя поблескивает. Как по-твоему?— сказал Зайцев, потирая уставшие от напряжения глаза.

— Как разглядишь? Далеко,— отозвался уклончиво Ташаубаев.

— Точно, седло. Ты смотри, что бы это могло значить?

— Кто знает...

— Чья же лошадь? Как думаешь?

— Чего думать? Мало ли лошадей. Давай беги, начальника караула вызывай, докладывать надо ему,— распорядился Ташаубаев.

Зайцев сбегал за Трубиным. Андрей тотчас же пришел.

¹ Болтун (каз.).

Лошадь стояла, тихо позвякивая уздечкой. Очертания ее расплывались в сумраке.

— Какой приказ будет, товарищ старший сержант?— спросил Ташаубаев.

— Надо поймать,— сказал Андрей,— чьей бы она ни была. А то часовые примут в темноте за человека. Сумеешь поймать, Касым?

— Можно попробовать.

— Тогда крой!

— Есть!— с готовностью отозвался Ташаубаев и, подтянувшись на руках, легко перебросил через край окопа свое сухое мускулистое тело. Андрей занял его место у пулемета.

— В случае чего, сразу назад!

— Есть!

Ташаубаев беззвучными шагами двинулся через поляну к опушке леса. Почуввав приближение человека, лошадь насторожилась, звяканье уздечки оборвалось.

Андрей следил сквозь паутину сумерек за тем, как боец приближается к лошади, и сам постепенно проникался волнением: мальчишкой в ночном сколько раз подкрадывался таким же образом к строптивым коням. Вот-вот Ташаубаев окажется рядом, схватит за уздечку. Кто-кто, а уж он-то, наверное, знал все тонкости обращения с лошадью.

Но, видно, Ташаубаев сделал что-то не так. Лошадь вдруг резко шарахнулась от него, побежала вдоль опушки. Ташаубаев погнался за ней, размахивая руками, гортанно гикая, пока не упал, оступившись в темноте. Лошадь же срезала дальний угол поляны и скрылась в лесу.

Андрей с трудом дождался возвращения караульного.

— Упустил?— сказал он, не скрывая досады.

— Да,— кивнул виновато Касым.— Совсем дикой лошадь. Не успел подходить — бежал. Не смог ловить.

— А что хоть за лошадь? Разглядел?

— Не знаю. Чужой какой-то. Может, паслась здесь. Жарко, в лесу пряталась.

Трубин уже было собрался уходить, но уклончивость в ответах Ташаубаева насторожила его. Андрей понял, что боец что-то недоговаривает.

— Касым, ты не ушибся, случайно?

— Зачем ушибся? Нет. Падал не больно.

— А отчего настроение у тебя изменилось?

Ташаубаев отвел взгляд.

— Не хотел говорить, товарищ старший сержант, теперь скажу. Лошадь я сам прогнал.

— Как это?

— Руками махал, маленько крикнул, чтобы пугался.

— Но зачем?

— Думал, так надо.— Ташаубаев в затруднении провел ладонью по лицу, поднял на начальника караула полные тревоги глаза.— Лошадь — это Орлик, на котором наш лейтенант ездит.

— Орлик?— переспросил Андрей.— Ты не ошибся, Касым?

— Какой там ошибся? Рядом был. Он!

— Но лейтенант Култаев уехал вечером в лагеря. Откуда здесь мог появиться Орлик?

— Не знаю. Седло есть, все есть, повод оборван. В лесу, наверное, задевал. И шибко боится Орлик. Кто-то пугал его, так я думаю.

— Что же могло произойти, Касым? Лейтенант не мог отпустить лошадь.

— Не мог,— согласился Ташаубаев.— Лошадь языка нет, сказать не может. Как будешь знать? Думаю, плохое случилось...

— Неужели лейтенант...— Андрей не смог произнести слово «погиб». Закусив губы до боли, смотрел на сереющую во тьме расплывчатую полосу дороги, упиравшуюся в сумрачную и безмолвную стену леса. Лес... Кто-то из него еще появится?

— Неважные дела а, Касым? Что будем делать? Может, разведку послать, узнать, что в городке? Как считаешь?

— Надо, конечно. Ночь, как раз... Посылай, командир.

— Могу сходить, если нужно,— с подчеркнутым равнодушием сказал Адамович.

— Вдвоем надо.

— Зайцева беру.

— Почему его,— удивился Андрей.

— Соображения такие. Во-первых, в состав караула не входит, значит, его отсутствие не скажется на несении службы. И второе, главное — на немцев злой. А я злых люблю,— все с той же напускной невозмутимостью и без улыбки объяснил Адамович, поглядывая при этом на командира.

Тот не возразил.

Среди немалого числа профессий, которые пришлось сменить на своем веку Адамовичу, была и профессия егеря. Эту должность в соседнем заповедно-охотничьем хозяйстве кто-то ему нахвалил тогда: сам себе хозяин, броди с ружьем, лови браконьеров, да хищников уничтожай, и получай премии.

Ни одного браконьера он не поймал, не получил и премии. А через два месяца не вытерпел, сбежал, испугавшись, как бы не разучиться говорить в лесном одиночестве. Но ориентироваться в лесу научился и теперь уверенно шел в темноте, легко угадывая направление. Зайцев, следовавший за ним, то и дело оступался, налетал на деревья, матерясь шепотом, а он, словно чутьем угадывал препятствия на пути, вовремя отводил от себя торчавшие пиками сучья. Помогало и сознание ответственности. Адамович прекрасно понимал: разведка — дело нешуточное.

Лес уже по-ночному затих. Высланная толстым слоем хвои земля густо источала запах смолы и грибной прели, податливо пружинила под ногами. Приглушенно хрустели сухие шишки. Казалось, здесь был свой особый, погруженный в темень и безмолвие мир. Сомкнутые в тишине кроны сосен наглухо отгораживали землю от ночного неба, где и теперь зловеще гудели самолеты.

Адамович уже в который раз придержал шаг, проверяя направление. В спину ему слепо толкнулся Зайцев. Звякнули, ударившись один о другой, штыки.

— Что, дошли? А то я все лицо себе исцарапал о сучки.

— Глаза береги, пригодятся,— посоветовал Адамович, взглядываясь в темноту.— Двинулись. Не отставай и штык держи повыше: дырка в спине мне ни к чему.

Минут десять они шли гуськом в таком же непроглядном сумраке. Потом впереди просветлело. Тропинка, которую Адамович успел нащупать ногами, скатилась в низинку: пахло сыростью и укропом. Отсюда начинались огороды. Невысокий, увитый хмелем и шершавыми, как наждак, тыквенными плетями тын был рядом. Адамович положил на него руку, остановленный непривычной настояживающей тишиной. Местечко лежало впереди совершенно безмолвное, без единого огонька, как вымершее.

Никогда, даже в самый поздний ночной час, здесь не было такой тишины. Ни звуков радио возле клуба, ни песен, смеха девчат, ни пиликания скрипок и звонких ударов

бубна, в сопровождении которых молодежь до рассвета бродила летом по улицам. Псы и те примолкли. Ныли комары, да в отдалении, на шоссе, урчали глухо моторы. Пахло гарью.

Адамович все отчетливее различал этот горьковатый запах, успевший перебить запахи огорода. Нет, это был не знакомый дымок, что держался вечерами на окраинах местечка (жители почти все имели во дворах летние очаги-плиты с кирпичными белыми трубами, похожие на маленькие паровозы), а именно гарь, чадная смесь горелого кирпича и железа — запах пожарища.

Бойцы молча стояли рядом возле плетня, оба проникаясь одним общим тревожным сознанием опасности. Вот и все переменилось, стало по-другому, и не пойдешь теперь по улице, как еще вчера ходил, с песней. В городе — враг.

Зайцев, нарушив молчание, шлепнул себя по шее ладонью, прихлопнув присосавшегося комара.

— Куда мы сейчас?

— Идем.

Адамович поставил винтовку на боевой взвод, пристально всматриваясь в проступавшие за огородом строения: не ошибся, кажется, как раз то, что надо. Одной ногой он стал на плетень и прыгнул в огород на картофельную ботву, уже смоченную росой. Подождал, пока перелезет через забор Зайцев, и осторожно двинулся между грядками, натыкаясь грудью на упругие головы подсолнухов.

Дойдя до забора, отделявшего огород от двора, Адамович просунул руку между штакетинами, откинул вертушку, державшую воротца, и ноги его ощутили твердость выложенной обломками кирпича дорожки. В окне, обращенном во двор, блеснул огонек и погас. Хриплым лаем залился пес, видимо, на ночь его заперли в амбар: лай пса доносился глухо, как из-под земли.

Оставив товарища за углом с наказом ждать, Адамович поднялся на невысокое крылечко, где на перилах у бабки Несенко обычно сушились опрокинутые кринки, нашарил сыромятный ремешок с узелком на конце. Стоило потянуть его вниз, и щеколда изнутри приподнималась. Но в этот раз дверь была, видимо, заложена еще и на засов. Адамович подергал безрезультатно за ремешок, потом постучал. Сначала ответа не было. Но после вторичного настойчивого стука в тишине за дверью прошлепали по

земляному полу босые ребячьи ноги и мальчишечий голос из-за двери осторожно спросил:

— Хтось там?

— Федько, открой,— вполголоса попросил Адамович.

— А кто?

— Свой. Это я, тезка твой. Весной еще танк тебе из дерева вырубал. Помнишь?

— Помню,— не без колебания ответил мальчуган.

— Ну и отчиняй. Чего ты?

— Зараз.

Босые ноги зашлепали, удаляясь, но тут же вернулись, и за дверью стукнул поднятый засов.

— Здравствуй, Федько,— Адамович слегка привлек к себе мальчика.— Жив-здоров?

— Та, здоров. А это уж до нас Червона Армия вернулась, да, дядько Федор?— обрадованно и не совсем уверенно спросил мальчуган.

— погоди, друг, все объясню. Давай-ка сперва двери прикроем,— уклончиво сказал Адамович, ступая через порог и шаря дверную скобку.

Мальчуган кинулся в хату.

— Бабушка, бачь, кто пришел!

Адамович на минуту остался один в темных сенях, где так знакомо, по-деревенски благоухало полынными вениками и шалфеем, робко ступал, вытянув руки, боясь наткнуться на что-нибудь, уронить. Но вот впереди возник свет и раздался голос хозяйки:

— Где он там? Веди его сюда.

Бабка держала в руках зажженную лампу, маленькую жестяную лампочку, почти коптилку. Узенький язычок пламени подрагивал за стеклом с отбитым верхом, бросая вокруг призрачный, слабый, красноватый свет. В этом скудном освещении причудливыми казались и печь, с торчавшими из-за трубы рогаками, с квадратными печурками, где зимой так удобно сушить мокрые варежки, где лежат всегда под рукой спички, и шкаф с посудой, и божница в углу, тесно уставленная иконами. Темные лики святых в окладах из медной фольги шевелились, как живые, вытягивались и расплывались. И сама бабка при свете коптилки казалась еще выше ростом и суровее.

Она не проявила заметного удивления при виде красноармейца. Еще сдержаннее, чем обычно, кивнула в ответ на его приветствие, стояла невозмутимо, подкручивая темной, узловатой старушечьей рукой фитилек в лампе.

И только, как показалось Адамовичу, неодобрительно скользнула взглядом по его одежде. Он вспомнил, какой чистотой блистала всегда изба бабки Несенко, и ему стало неловко за измазанные землей сапоги и мокрые брюки.

— Я на минутку,— сказал Адамович тоном извинения, поспешно одной рукой одергивая выбившуюся из-под ремня гимнастерку.— Мне только напиться.

— Федько, воды,— кивнула внуку старуха. Мальчик кинулся в сенцы и вернулся с жестяным полным ковшиком, плеская в поспешности воду себе на босые ноги.

— От, пожалуйста, пейте.

Ковш был тот самый, что бабка вешала для них на плетне, когда они по пути в караул останавливались возле колодца. Адамович, взяв его в руки, вдруг почувствовал в себе странную тяжесть. Стало неловко и больно от мысли, что вот сидят тут при копилке старуха и малец рядом с врагом, брошенные и беззащитные, а они, два здоровых парня с винтовками, крадутся по огородам, просят у них пить.

Адамович поднес к губам железную кромку ковшика, долго цедил воду, не ощущая, холодная она или теплая, пока всю не выпил. Бабка придвинула ему табуретку.

— Садись.

— Спасибо. Я на минуту. Пойду дальше,— пробормотал он, поставив на уголок кухонного стола пустой ковшик.

— Сидай,— властно повторила старуха.

Адамович подчинился. Мальчик, придвинувшись к нему, неотрывно смотрел на винтовку, даже позволил себе дотронуться пальцем до вороненой грани штыка.

— Дядько Федор, а у нимцев не такая рушница. Маленька. И штыка немає. А без штыка ж хуже, правда?

— Хуже,— кивнул Адамович.

— А ну-ка, геть отсюда! Не лезь,— отогнала внука старуха.— Ты один здесь или еще кто есть с тобой?— спросила она с суровой требовательностью красноармейца.

— Мы вдвоем,— сказал Адамович.— Товарищ на улице остался.

— А остальные?

— На месте, как обычно.

— На месте. Где ж оно, ваше место теперь?— брови на суровом лице старухи печально сошлись.

— Службу несем, как всегда. А это — разведка,— поспешил уточнить Адамович.— Обстановку разведует, бабушка.

— Разведуете,— недовольно повторила старуха.— А чего ж ее разведовать, если кругом германец, чтоб ему сказаться!

— Немцев здесь много? Вы видели?— чуть оживился Адамович, постепенно обретая смелость под суровым бабкиным взглядом.

— А чтоб их не видеть и не слышать, катов окаянных!

— И я их бачил, дядько Федор,— поспешил вставить свое слово мальчик.— Они вот тут и шли, по нашей улице. Аж стекла трусились, такой был грохот от танков да всяких машин. Большие у них машины, страхолюдные, а на танках белые кресты намалеваны.

— Та перестань, от щебетун,— цикнула на него бабка.— Нашел о чем... Диво ему, какие машины да танки. А они, може, все против твоего дядьки направлены. Горе да слезы людям несут, щоб им провалиться скрозь землю. Ото ж, изверги: дома попалили, людей пообижали, а сколько птицы да собак постреляли — тому и счета нет. Ох, лихо, лихо,— бабка вздохнула горестно.— Думалось, что та война, когда кайзер здесь был да Петлюра,— последняя. А оно опять же все знова.

— Дядько Федор, а фашисты и в нашего Тузика стреляли,— не вытерпел опять мальчуган, воспользовавшись паузой.— Остановились у колодца воды набрать, а он гавкает, бачит, чужие — и прямо к ним. Вы ж знаете, какой он злючий. А тогда немец в него выстрелил. Я его запомнил, рудый такой и без рубашки. Только промазал.

— А вин про собаку. Що це за дитына! Геть отсюда,— сердито перебила внука бабка.— Ты ж богу моли, что самого не подстрелили. И подстрелят, колы будешь мотаться по улице.

— А наших тут не было, случайно? Не показывался кто-нибудь?— поинтересовался осторожно Адамович после того, как выслушал рассказ бабки о хозяйничанье немцев в местечке.

— Ваших?— старуха испытующе посмотрела на него, будто не решаясь сразу ответить, кивнула.— Пойдем-ка. Федько, слушай тут.— Она поправила занавеску, закрывавшую окошко, плотнее прикрыла филенчатую дверь в горницу и, жестом пригласив бойца следовать за собой, с лампой в руках направилась в сени.

Адамович покорно шагнул за бабкой, звякнув прикладом о низкий порожек. Здесь было что-то вроде домашнего склада. Адамович успел заметить старый кожух, висевший

у входа, узелок с семенами, подвязанный к потолку, какие-то склянки на маленьком окошке без рамы, потом взгляд его остановился на топчане, где, разметав руки, укрытый лоскутным стеганым одеялом, лежал человек.

Адамович оцепенел от неожиданности. Он узнал своего соседа по казарме ефрейтора Михеева, назначенного во внутренний наряд дневальным. Протянул руку, намереваясь тронуть ефрейтора, но бабка удержала его.

— Не надо, не тревожь. Все одно не услышит, без памяти он. Крови вытекло много. Намучился, спаси его господи.— Бабка скупно перекрестилась, стала поправлять съехавшую с топчана подушку. Желтое пламя коптилки освещало лоб и щеки раненого, покрытые крупными каплями пота.

Бабка поправила постель и выпрямилась. Это был сигнал выйти. Адамович подчинился, молча нагнул голову под низкой притолокой. На кухне, не ожидая приглашения, опустился на табурет и выслушал краткий рассказ старухи о том, как она подобрала раненого на улице и вдвоем с внуком огородами перетащила в хату.

— Хоронились, щоб дед Поплавский не высмотрел. То же такой злодеюка — всем разболтает, да еще и до нимцев сбегает, не погнушается. Он и так уже успел показать, у кого жены командиров жили. Да и на меня грозился.

— Мы по кукурузе волокли вашего бойца. У нас кукуруза высоченная. Бабка за плечи, а я за ноги. А потом нарядно поклали, щоб не так тяжело,— вставил Федько и опасливо глянул на бабку: не заругалась бы опять. Но бабка на этот раз не прикрикнула на внука, как будто и не заметила его вовсе, стала рассказывать:

— Куда-то добаться хотел он, може до вас, где вы там, все повторял в беспамятстве какой-то «караул, караул». А полз, должно быть, оттуда, где казарма. Там и поранен...

Бабка горестно покачала головой, поднесла кончик платка к сухим суровым глазам. Адамович тяжело поднялся с табуретки.

— Ну, что ж. Мы, наверное, возьмем его. На обратном пути. Чтобы вам тут...— начал Адамович и осекся под неодобрительным взглядом старухи.

— Куда возьмете? Человек в беспамятстве. Нет,— отрезала бабка.— Ступайте, куда пошли. Пусть он тут останется. Выходим, даст бог. Не я, так люди помогут. Ступай.

Ни разу в жизни Адамович так еще скверно себя не чувствовал. Надо было уходить, ждал товарищ на улице, но ноги не двигались с места. Взводный остряк и балагур, тяготившийся и минутой молчания, впервые не знал, что сказать.

— Наши скоро вернутся. Недолго тут хозяйничать гадам всяким,— произнес он незнакомым хриплым голосом.

Бабка Несенко никогда и никого из них, сколько бы они ни навевывались к ней, не оставляла без того чтобы не усадить за стол и не накормить, как бы кто ни отказывался и ни ссылался на сытость. И теперь она, хотя и не стала приглашать бойца к столу, но зная, что кусок ему пригодится, быстро что-то завернула в тряпицу и уже у выхода сунула в руки.

Адамович был благодарен этой старой женщине, ему захотелось сказать ей что-то хорошее, сделать все, что от него зависит как от солдата. Но он не решился и только в темноте притянул к себе голову мальчугана.

— Пока, Федько. Держись молодцом. Скоро встретимся.

Во дворе заждавшийся Зайцев встретил его с облегчением.

— Ты чего там долго? Я уж хотел стучать. Узнал что-нибудь?

— Узнал. Возьми,— Адамович сунул ему узелок.

— Что это?

— Хлеб. Ешь.

— А ты?

— Держи, говорю,— досадливо повторил Адамович. Есть ему уже не хотелось. Сейчас он не смог бы проглотить и куска.— Тут все спокойно?

— Тихо. Собака ворчала, правда. Чует чужого.

— Слушай, как тебя по имени? Не познакомились как следует...

— Филипп.

— Слушай, Филипп, ты своего начальника-воентехника уважаешь?

— Я же говорил, нога прострелена, а он не застонал ни разу.

— Пошли, «чокнемся» с господами арийцами за его здоровье,— сказал Адамович, трогая оттягивающее карман рубчатое тело гранаты, которую он на всякий случай прихватил с собой в караульном помещении.

Не без пользы, видно, правдами и неправдами добывал бывший танкист у старшины взвода увольнительные. За полтора года Адамович основательно изучил местечко с его кривыми полудеревенскими улочками. Пригодилось знание самых кратких тропок к военному городку, по которым он частенько бегал, оказываясь в жесточайшем цейтноте при возвращении в казарму после очередного свидания с подружкой.

По глухим проулкам и огородам вывел он своего спутника в нужное место. Он ни разу не остановился, не перевел дыхания, пока перед ним из сумрака не выступил дощатый высокий забор. Тут Адамович прилег, поджидая отставшего товарища, прислушался. Ночную тишину по-прежнему нарушало лишь далекое урчание автомашин да комариное нытье. Откуда-то из-за плетней донесся звук патефона и тут же оборвался. Кто-то, видимо, распахнул окно и снова захлопнул. Нет, не все вымерло в местечке. Где-то и веселились, наверняка немцы.

Подтянулся Зайцев и тоже опустился на землю, тяжело дыша. Пожаловался:

— Ну, с тобой ходить. Шпаришь галопом. Далеко еще?

— Все. Явились по адресу.

— Что это за ограда?

— Потише. Наша часть.

— Думаешь, немцы здесь?

— А вот увидим.

Адамович протянул руку, на ощупь попробовал крепость досок. И здесь пригодился опыт. Один из шершавых толстых горбылей подался. Адамович отвел его в сторону, просунул в образовавшуюся щель голову, опять прислушался и бесшумно скользнул за ограду. Филипп последовал за ним.

Здесь был хоздвор и спортплощадка. Вечерами, перед отбоем, бойцы делали тут разминку: крутились на турнике, ходили, балансируя, по параллельному брусу, пробовали с шутками взобраться на столб, отполированный сотнями ладоней. Вчера в это время все еще так было. И, наверное, до самой команды старшины «спать!» — гоняли волейбольный мяч, тренируясь перед соревнованиями. Соревнования... Состоялись ли они? Где все остальные из взвода?

Чувство ноющей боли, возникшее еще там, в чулане у бабки Несенко, вернулось к Адамовичу, подступило комом к горлу. Он сквозь зубы выругался, растянул расстегнутый

на все пуговицы ворот гимнастерки. Зайцев чуть тронул его за плечо:

— Что это?

Оба прислушались. В темноте неподалеку кто-то словно забавлялся спортивной сиреной, извлекая дребезжащие разнотонные звуки.

— Играют на чем-то? — спросил Зайцев.

— Нашел о чем. Пошли! — сердито скомандовал Адамович и, вскинув винтовку, шагнул в глубину двора. Тут он мог двигаться и с завязанными глазами. Сразу же за спортплощадкой — артиллерийский парк, просторный под крышей из дранки сарай, где в жаркую погоду так удобно на асфальтовой дорожке заниматься строевой подготовкой, «давать ногу». Рядом — гараж с неистребимым запахом бензина. Дальше подряд шли строения вещевого склада, гауптвахты, санчасти. Все вместе они образовывали тыловую сторону главного двора с плацем посредине.

Но, еще обходя гараж, Адамович почувствовал впереди непривычную пустоту. Запах гари, становившийся с каждым шагом сильнее, тут пахнул в лицо особенно резко. Остановленный тревожной опустелостью пожарища, Адамович прислонился к углу с минутной непреодолимой тяжестью в ногах. Ни склада, ни санчасти, ни помещения гауптвахты не было. Только силуэт двухэтажной казармы за темным пустым плацем смутно проступал на фоне ночного неба.

Адамович бездумно, без всякого любопытства, склонившись, поднял из-под ног один из предметов. Это была склянка из аптечки санчасти, оплавившаяся в огне, но все еще хранившая запах лекарства.

— Ясно, — тихо выговорил он привязавшееся к нему слово и бережно положил склянку на место. Поднял полуобгоревшую свернутую белую нижнюю красноармейскую рубашку, какие стопками хранились на вещевом складе у Якутова. Он хотел что-то еще подобрать из того, что было разметано пожаром по двору, но Зайцев, обеспокоенный задержкой, тронул его сзади.

— Ты чего прирос?

— Ясно, — повторил опять сквозь стиснутые зубы Адамович, словно опомнившись. — Все ясно. Двинули. Держись за мной.

Они еще помедлили с минуту, прислушиваясь к снова доносившимся звукам. Кто-то теперь уже совсем близко выводил в темноте незнакомую мелодию.

— Так это же губная гармошка!— догадался наконец Зайцев.— У нас рядом немецкое село, там сплошь у всех такие гармошки. Даже на свадьбах играют.

В городке были немцы, сомневаться не приходилось.

Они миновали перебежкой пространство за гаражом и оказались в березовой рощице, возле столовой, уцелевшей от огня. Залегли, прячась за шершавые стволы деревьев. Дальше пробираться было некуда. Их и здесь могли в любой момент обнаружить, стоило посветить лучом фонарика. Но об опасности ни тот, ни другой не думал. Чувство торжества овладело Адамовичем: подобрался-таки к врагу. Сумел.

А немцы были рядом. Посреди двора смутно различались какие-то машины, пахло соляркой. Где-то звякал металл.— Судя по звуку, водитель завинчивал гайки. Метнулся по земле свет переносной электролампы. Шаги часового! Он шел от столовой, пересекая двор, медленно, спокойно: шаг и остановка, потом опять шаг. Шаркали подошвы. Под ногами у часового хрустнуло валявшееся на земле стекло.

Адамович с заколотившимся сердцем торопливо вытер о траву влажную ладонь, в которой сжимал гранату. Чуть слышно, почти не разжимая губ, шепнул Зайцеву:

— Различаешь часового? Бей по нему.— И сам приподнялся, весь напружинившись, отвел правую руку назад.

...Отходили они тем же задним двором, прячась за строения, штабеля дров, преследуемые трескотней выстрелов, криками. Стрельба поднялась и в других местах, где были расположившиеся на ночь немцы. Небо прочерчивали разноцветные, будто догонявшие друг друга строчки трассирующих пуль, взлетали, обливая землю мертвенно-белым светом, ракеты. А позади, в городке, багрово вспыхивало зарево. Горели автомашины и бревенчатая, высушенная временем казарма, метались тени.

И в зыбком свете, уже выбравшись из городка, лежа в каком-то заросшем проулке, едва успев перемахнуть плетень, Адамович вдруг обнаружил возле себя человека, тоже припавшего к земле. Он был не то в платке, не то перебинтован. Не зная, за кого его принять, Адамович, не успевший после перебежки перевести дыхание, хотел было поднять его под себя, но его остановил до странности знакомый голос.

— Не скоро, не надо так быстро, дорогой! Зачем спешить?

Это был младший сержант Аветисян.

— Вы шуму наделали? Молодцы! Хороший шум! Замечательно! — похвалил он, не дав Адамовичу выразить своего удивления встречей. — Пусть фашисты не думают, что могут спать на нашей земле спокойно. Не будут спокойно спать! Не удастся!

— А ты, ты откуда здесь? Каким образом? — перебил в нетерпении Адамович, запаленно дыша.

— Пришел в разведку. Только не сумел фашистам подбросить горяченького. Не смог, — пожалел Аветисян. — Мало того, один остался. Старший сержант Якутов пропал. Куда девался, не знаю.

— А наши, наши? Где они? — обрадовался Адамович.

— Там... И лейтенант Култаев тоже.

— Лейтенант? Откуда?

— Сам увидишь, — пообещал коротко командир отделения. — Концерт кончился, пойдем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

А ночные звуки были такими как всегда, словно ничего не изменилось в мире. Пробылькала и смолк перепел, дожидаясь ответа подруги. Далеко на болоте почти с одинаковыми паузами квакали лягушки. Позванивали цепью на блоке караульные собаки, звенели комары. Прокаленная за день солнцем земля отдавала тепло, как хорошо натопленная печь, пахло лесом и росой.

Андрей шел по территории склада. Было темно, как бывает только в начале безлунной ночи, летом. Редкие звезды прокалывали черное небо голубоватыми иглами.

Из темноты выросла фигура часового, под тяжестью шагов хрустнул песок дорожки. Басовитое покашливание. Тугаринов!

— Почему не окликаешь! — спросил, остановившись, Андрей.

— Да ясно и так, кто идет.

— Полагаться на одну интуицию для часового мало.

Сделать бы замечания в более резкой форме, за нарушение уставного правила, но Андрею не хотелось. И он уже не обнаружил в себе чувства недавней неприязни к этому угрюмому здоровяку. Его дисциплинарные проступки, товарищеский суд, обсуждение Тугаринова на комсомольском собрании — все это отодвинулось в прошлое, по-

теряло значение. Андрей почувствовал какую-то незнакомую товарищескую близость к часовому и, поддавшись настроению, не по уставному, просто спросил:

— Как дела?

— Порядок.

— Ну ладно.

Он ограничился этим кратким диалогом и направился дальше. Да и что было говорить: все, что нужно, сказано. Андрей второй раз за вечер обходил посты. В ходьбе, в коротких разговорах с часовыми отвлекался, гнал от себя тревожное беспокойство.

Следующий часовой Пряхин. Он окликнул начальника караула вполголоса, и тотчас расплывчатая фигура его возникла из окопа перед грибком. Пряхин сам, не дожидаясь вопроса, доложил, что на посту без происшествий.

— Темно,— пожаловался он.— Но я приловчился глядеть понизу, в створ вон той светлой каемки на небе, так вроде получше различается.

Оба, часовой и проверяющий, остановились рядом, вглядываясь в ночной сумрак.

— Не спится, старший сержант?— сочувственно спросил Пряхин.

— Не спится,— согласился Андрей.

— Да-а, ночь. Не улежать, не усидеть. Вся страна не спит, пожалуй.

Пряхин приставил к ноге винтовку. Чуть звякнул угодивший на камушек приклад. В голосе часового слышалась тревога.

Андрей отвел напряженный взгляд, вспомнил бродившую где-то сейчас по лесу лошадь командира взвода и помрачнел. Ему захотелось поговорить, поделиться своей тревогой и почему-то именно с этим спокойным, на вид даже замкнутым человеком, стоявшим рядом с винтовкой у плеча. Но часовой есть часовой.

Андрей промолчал, прислушиваясь к тягучему далекому жужжанию, возникшему в ночном небе. Где-то невидимый в вышине плыл самолет. Чей он, свой или вражеский,— не разобрать. Может быть, это разведчик, наш краснозвездный, которому и в голову не придет, что где-то среди темной массы лесов остался военный склад и в нем караул — полтора десятка людей со своими заботами, неизвестностью, тревожным ожиданием завтрашнего дня.

Молча Андрей проводил звук, растаявший вдалеке.

— Немец, однако, плутает. По прерывистому гулу можно различить,— сказал Пряхин. Он тоже прислушивался к жужжанию, хотя и не поднимал головы.

Постояли еще с минуту молча, оба, наверное, думая об одном и том же.

Трубин, нарушив затянувшуюся паузу, возвратился к официальному тону:

— Продолжайте нести службу. В случае чего, дайте сразу знать.

Все это можно было и не повторять, тем более Пряхину, но он сказал. И Пряхин коротко ответил:

— Есть!

Потом чуть отступил, хрустнув песком, и будто растворился в темноте. Это он спрыгнул в окоп, занял свое место, чтобы «глядеть понизу». От этой неторопливой спокойной четкости в действиях часового Андрей и сам невольно как-то успокоился и, козырнув, отошел довольный.

Стежка привела Андрея к пожарке. Возле расплывчатой в темноте квадратной бревенчатой будки стоял и сам пожарник. Андрей разглядел во тьме младшего сержанта, недовольно поморщился. Клевакин, оставленный в караульном помещении, в резерве, видно, поджидал его.

— В чем дело, младший сержант, почему не на месте, что-нибудь случилось?

— Поговорить надо,— уклончиво произнес Клевакин, не сходя с тропинки.— Один на один. А то у нас как на общем собрании: слова для себя не дождешься.

Андрей нехотя остановился возле свежевыкрашенных и развешанных снаружи на стене пожарки ведер и прочего пожарного инвентаря. Из открытых дверей сквозило приятным холодком от большого, в центре будки, колодца. Днем, в жару, не было лучше места, чтобы посидеть здесь на свернутых в калачи брезентовых шлангах, ощущая под ногами прохладу бетонного пола.

— Что за разговор?— спросил он с плохо скрытым нетерпением и высвободил из-под обшлага гимнастерки циферблат часов.— Только покороче.

— Я еще не сказал ничего, а ты торопишь,— обиделся Клевакин.— По-моему, мы тут двое из младших командиров и можно для пользы дела выбрать минуту, чтобы поговорить, учитывая серьезность обстановки, а не избегать друг друга.

— Говорили об обстановке уже.

— А с кем? Игнорируешь младших командиров, това-

рищ Трубин. И зря. Между прочим, и результат уже налицо.

— Какой результат?

— Насчет немца я тебя предупреждал. Ты не посчитался. Так же и с Феоктистовым.

— Значит, новое предупреждение?

— Напрасно посмеиваешься, старший сержант. Сейчас не до шуток, и я к тебе с серьезным делом. Надо обсудить обстановку, в которой мы оказались. Считаешь, что все ясно?

— Вернется разведка, будет яснее.

— А вернется ли?

— Не все же погибают.

— Дело не в гибели. Пошел кто, Адамович? Так вот, будем мы его тут ждать, как в сказке у Пушкина, — тридцать лет и три года, и не дождемся.

— Почему?

— А кто такой Адамович, ты знаешь? — Клевакин понизил голос, и лицо его приблизилось к Андрею.

— Что я должен знать?

— В том-то и дело, что мы плохо людей знаем. Балагур. Поддевает каждого, между прочим, и комсостав. А у самого привод был.

— Какой привод?

— Обыкновенный, в милицию. А может, еще что и по-серьезнее. Не случайно из танковой части отчислили. Говорят, по состоянию здоровья. А кто проверял? Из одной части в другую за будь здоров не переводят. Причина есть, не иначе.

Клевакин не скрывал торжества. «Удивлен, товарищ начальник караула? Удивляйся. Думаешь, если в институте учился, так все и видишь? Другие видят кое-что получше тебя».

Лицо пожарника, всегда налитое краснотой, почему-то казалось в темноте Андрею светлым пятном.

— Слушай, Клевакин, — сказал Андрей, сдерживая досаду, — ты о ком-нибудь думаешь хорошо хоть изредка, без задней мысли, сознайся. Мне кажется, что нет.

— О ком надо, думаю. И жалко, что товарищ Трубин не хочет прислушиваться к товарищеским советам. Бдительность, между прочим, не отменяется, несмотря на то, что война. И я опять об Адамовиче. В разведку он сам напросился — это раз. А с собой взял кого? Постороннего

человека. Кто этот шофер, мы знаем? Один раз видели, только и всего. К тому же доверили боевую винтовку.

— Ну и какой из всего этого вывод?

— Ты будущий политрук и должен лучше меня знать, что самое главное у нас люди. Людей растеряешь, придется отвечать. Тут мозгами надо ворочать. И я хотел тебе помочь, ради тебя, если уж на то пошло. Чтобы дров не наломал. Не хочешь, как хочешь, думай один. Только учти, ночь короткая. Покой и тишина до утра, а там неизвестно, что будет. Можно и не успеть...

Андрей поправил ремень, оттянутый кобурой с пистолетом.

— Ну все. Идите на свое место, товарищ младший сержант!

Андрей обошел пожарку. Тропинка теперь взбежала на взгорок. Росная свежесть низинки сменилась душной теплотой. С болот опять донесся лягушачий хор. Андрей мысленно повторил слова Клевакина: «Думай один... Ночь короткая...» Вот человек, после каждого разговора с ним — одна досада. И все-таки что хотел он сказать: не ради же Адамовича только завел речь?

«Ночь короткая... Можно не успеть». К чему пожарник клонил?

Навязчивые, словно застрявшие в голове, вопросы не отставали. Андрей пересек двор и мимо караульного помещения направился к воротам. Его остановил голос Ташаубаева:

— Вы, товарищ старший сержант?

— Я. У тебя тихо?

— Тихо, все время слушаю.

— Почему в окопе? Вылазь, отдыхай.

— Ничего. Тут лучше, не жарко. Сам почему не отдыхаешь? Если все порядок, начальник караула может отдыхать

Андрей, подчиняясь нахлынувшей вдруг усталости, прилег на теплую землю возле бруствера.

— Погоди, товарищ старший сержант, шинель дам.

Ташаубаев вытащил из окопа шинель, бросил Андрею.

— Бери. Как говорит Адамович: «Шинель есть — полный порядок танковой части».

«И этот об Адамовиче думает», — отметил Андрей, и мысли его вернулись к разговору с Клевакиным.

— Иди и ты сюда, — сказал он, вытягивая из-под себя полу шинели. — Места хватит.

— Оно да, конечно,— согласился Ташаубаев и, выбравшись из окопа, лег рядом. Помолчали.

— Настроение как, Касым?

— Ничего настроение, товарищ старший сержант.

— О чем думаешь?

— Всякое. Ночь, тихо. Что делать: думай.

— А все-таки?

— Война, думать надо, чтобы на посту порядок.

— О доме думал?

— Да, конечно. Женатый всегда так: жена, ребенок в голове. Семью рано заводил, торопился. Боялся девушек не хватит,— Ташаубаев белозубо улыбнулся и погасил улыбку.— Шолпан думал, не спит, может, забота какая,— сказал он, вздохнув.— Отец думал, вспомнил, как скот меня пасти учил. Кто такой, говорит, пастух — знаешь? Ты школу ходишь, учитель науку тебе дает. Скот пасти тоже наука. Учиться надо, головой работать надо. Случай такой был летом. Встали утром рано с отцом табун вместе гнать. Что такое? Отец всегда быстро собирался, хоть и старик: я глаза только открою, а он уже одетый. А тут не торопится. Потом говорит: «Эх, худой стал ум: забыл вечером сапог починять, подметку прибивать. Боюсь, совсем отвалится». Оставайся, говорю. Один пасти буду. Правильно, сынок, останусь, говорит, прибью подметку. Двор мал-мал приберу, давно не прибирал. Вечером приду. Хитрый старик, меня так решил проверять, как один справлюсь с табуном. Не знал я, что старик думал, пасу один. Все хорошо. До вечера сам хозяин. Купаться можно, играть можно. Полдня не прошло, отец идет, торопится. Испугался я, навстречу бегу: «Ата, что случилось, говорил, до вечера будешь дома, рано пришел». Все, говорит, сделал: сапог ремонтировал, двор убирал. Без дела зачем сидеть? И сам спрашивает, хорошо ли скот пасу, гонял ли водопой. Обошел табун, все посмотрел, успокоился. Сюда пригнал лошину — правильно сделал, говорит. Утром в низине роса, трава для скотины все равно что человеку свежий хлеб. Поить погонишь, на солонцах поддержи. После соленого корова хорошо будет пить, молока даст больше. Вечером опять выбирай место, где трава сочная, чтобы жажды ночью не было. Такой старик,— Ташаубаев, захваченный воспоминаниями, задумчиво улыбнулся, покачал головой.— Теперь он совсем старый, восемьдесят лет, больше. Все равно пасет. Шолпан ему помогает. Когда в

армию меня провожал, говорил: «Пастух ты хороший, чтобы и аскером таким был». Так он говорил.

Ташаубаев надел пилотку, долго поправлял ее, видно унесенный в мыслях далеко домой, в свой степной аул Каратал, через войну и залитые ночной тьмой пространства. Потом вздохнул. Заговорил. В голосе у него послышалось смущение:

— Вот, товарищ сержант, как бывает, аул далеко, а кажется близко. И война... Здесь, а как будто рядом с моим аулом...

— Да,— отозвался Трубин, тоже думая о доме. И ему казалось, что его родной Синегорск странно придвинулся к нему, к войне.

Они опять помолчали, лежа рядом на одной шинели, под опрокинутым над головой тревожным ночным небом, касаясь плечом друг друга. Ныли комары, надоедливо жгли укусами.

— Слушай, Касым, а в степи у нас, по-моему, комаров меньше. Как думаешь?— сказал Андрей, глядя в темноту за окопом.

— Меньше. В степи ветер, комар ветер не любит.

Они переговаривались вполголоса. Было очень тихо. Угомонились перепела. Умолкли лягушки. Кольцо на блоке сторожевых собак позвякивало чуть слышно — дзинь-дзинь, как будто катилась монета, пущенная по камням.

И вдруг в тишине ухнул взрыв, приглушенный расстоянием. И сразу там же за лесом, словно застучали палками наперебой. Частые, едва различимые хлопки мешались с редкими, более отчетливыми. И, вторя этому далекому перестуку, возобновили, как по команде, свой прерванный концерт болотные музыканты-лягушки, загоготали, зацелкали.

С минуту словно продолжалось соревнование. Лягушачий гвалт в отдельные моменты заглушал остальные звуки, но потом перестук за лесом снова делался слышным. Это была стрельба. Андрей и Ташаубаев в напряженном молчании вглядывались в тревожную ночь. Быть может, и думали оба об одном и том же.

Первыми умолкли лягушки. Следом стали стихать и выстрелы.

Андрей с трудом высвободил из-под себя локоть, затекавший от неудобного положения.

— Война, Касым?

— Война,— подтвердил тихо Ташаубаев. Они поверну-

лись на шинели, задев друг друга плечом. Андрей тронул Ташаубаева рукой.

— Вопрос есть. Ответишь?

— Конечно.

— Устав караульной службы знаешь?

— Сам говорил, знаю. Может, не совсем знаю, как сказать?

— Скажи, если погиб разводящий и начальник караула, то часовой как должен поступать? Может, пост бросить?

— Зачем бросить? Нет. Стоять должен. Пост уходить не имеет права.

— Правильно. Знаешь устав.

— А ты почему такой вопрос задаешь?

— Для сравнения, Касым. И для пользы. Повторенье — мать ученья.

— Беспокоился о чем-нибудь?

— Беспокоился и думал. О нашем наряде думал. Ночь короткая.

— Да, конечно.

— Оставайся, — Андрей нащупал опору для руки, готовясь встать.

— Куда пойдешь? — поинтересовался Ташаубаев.

— Похожу. К Уляшеву надо заглянуть.

— Рита, военфельдшер зайдешь? — спросил внезапно боец.

Только темнота спасла Андрея, скрыла его смущение. Ташаубаев словно прочитал его намерение. К Рите он именно и хотел зайти, больше того, весь вечер жил этой мыслью. Так и рассчитывал: проверить посты, а потом сделать крюк по пути к конторе, чтобы никто не видел. А теперь, если уж идти, то напрямик.

Смущение сменилось мгновенной досадой на земляка: разгадал, от такого ничего не спрячешь.

— Придется зайти, — сказал он, как мог равнодушнее.

— Надо заходить, обязательно, — посоветовал Ташаубаев. — Как же, больной там. Может, помощь нужно. Узнавать надо.

«Хитер, — подумал Андрей, — хитер Касым, на что бьет».

Теперь он почувствовал невольную благодарность к нему. В самом деле, начальник караула обязан знать, как чувствует себя раненый боец.

Трубин готов был вскочить, побежать к домику. Но сдержал себя.

И только сердце ему не подчинялось, застучало, наполнило грудь восторженным звоном.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Рита не спала. Слишком велико было потрясение, чтобы можно было спокойно лечь и уснуть. Только какое-то действие, физические усилия могли отвлечь от всего, что произошло за день. Завесив окно для маскировки одеялом, при свете керосиновой лампы наводила «медицинский» порядок в помещении.

Тесная, насквозь прокуренная контора склада вряд ли подвергалась за все время существования подобной чистке. Рита сдвинула столы, влажным травяным веником подмела пол, беспощадно изгоняла пыль отовсюду, где только могла достать. Девушка старалась сделать все возможное, чтобы придать помещению вид санчасти. Повесила на видное место фельдшерскую сумку с крестом, радуясь тому, что догадалась нагрузить ее в городке попавшими под руку перевязочными материалами. Рассортировала аккуратно все, что было из медикаментов в аптечке караульного помещения, застелила бумагой стол, вымыла и наполнила водой графин.

Феокистов, измученный болью в воспаленном глазу, наконец затих, дышал ровно. Рита осторожно двигалась по комнате, замирала при малейшем скрипе разошедшихся половиц. Она словно кого-то ждала. Но кто сюда придет? Разве что начальник караула, старший сержант Трубин...

Да, именно Трубин. Его она и ждала, к его приходу торопилась все закончить, уверенная, что он скоро появится. Это ожидание и держало ее на каком-то нервном взводе, в состоянии волнующей приподнятости. Занятая своим делом, Рита чутко ловила звуки, доносившиеся со двора, и, как только слышались на крылечке шаги, кинулась в сени. В темноте она наткнулась на вытянутые вперед руки Трубина.

— Это вы, Андрей?

— Я.

Они остановились, плохо различая друг друга и в таком состоянии, как будто бежали и обоим надо было сначала отдышаться. Рита нашлась первой.

— Проходите,— сказала она, чуть отступив.— Сейчас я открою дверь, там светлее.

— Не надо,— остановил ее Андрей.— Я только узнать, как он?

— Недавно заснул. Хотите взглянуть?

— Да нет. Если спит.

— Ну все равно. Проходите, пожалуйста.

— Лучше здесь. Чтобы не мешать.

— Здесь?— переспросила Рита, пожалев, что он не увидит наведенного ею порядка.— Тогда садитесь. Не очень, правда, удобно,— она нашла в темноте его руку, слегка потянула за собой в глубину сеней.— Вот, сюда.

Они опустились на скамейку, придвинутую к дощатой шершавой стене, еще хранившей тепло прошедшего дня. Андрей вспомнил: на этой скамейке, влево от входа, стоял бачок с водой. Он и сейчас был здесь. Едва Андрей пошевелил локтем, крышка бачка звякнула. С другой стороны плечо его касалось плеча девушки, и подвинуться было некуда. Коротка была скамейка.

Так близко, наедине, они еще не сидели ни разу. И требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть, собраться с мыслями.

— Мне следовало, наверное, доложить по форме,— спохватилась Рита и даже сделала попытку подняться,— поскольку я теперь здесь на положении командира подразделения. Правда?

— Не обязательно,— Андрей смутился.

— Тогда пусть это будет в счет моей забывчивости,— согласилась девушка, и чувствовалось — она улыбалась.— Тем более что и начальник караула повинен в том же.

— Как это?

— Вспомнил о существовании санчасти в последнюю очередь. К сожалению, так бывает и в больших масштабах. Нас нередко забывают, медиков.

— Нет, я не забыл,— запротестовал Андрей.— Не мог сразу зайти. Проверял посты... А тут еще стрельба.

— Я тоже слышала. Это в городе, да?

— Кажется.

— Значит, фашисты там?

— Скоро узнаем точно.

Рита вздохнула.

— Просто в голове не укладывается: фашисты рядом. Что будет с семьями комсостава? Многие же не уехали в

дом с ним на скамейке, в этих темных сениях, где так опьяняюще пахнет смолистыми досками и полынью, и пальцы ее, прохладные от воды, в его руке?

— Ты что так смотришь на меня, Андрей?

— А ты разве видишь, что я смотрю?

— Вижу.

— Но ведь темно?

— Все равно вижу.

— Не могу понять.

— Что не можешь?

— Действительно это или сон. Ты и я, вдвоем. В этом домишке... Не верится. Ты же мне казалась такой далекой...— Андрей запнулся, подыскивая слова.— Чужой.

— Почему?

— Средний комсостав. И одна, во всей части. А сколько сержантов!

— Сколько?

— Много.

— Но сержант Трубин — один.

— «Сержант» — не звучит. Угольники не кубики. Геометрия. А я не любил точных наук и даже институт для себя выбрал такой, где их нет.

— Геометрия. Чудак,— с укором сказала Рита.— Может быть, и мне она не по душе.

— Как сказать...

— Не веришь?— она вдруг в порыве подняла его руку, прижала к своей щеке. Щека ее горела.— Это тебе в доказательство, чтобы поверил.

Андрея как электрическим током пронзило. Жаркая волна ударила в лицо.

— Рита..

— Скажи, веришь?

— А лейтенант Киян?

— Лейтенант? Что лейтенант?

— Танцы с ним, прогулки, катанье на лодке.

Ревность, хотя и гораздо меньше, чем прежде, но дала себя знать, заставила Андрея насупиться.

— Ты все запомнил,— рассмеялась Рита, не отнимая его ладони от своей щеки.

— Все.

— А знаешь, почему я это делала?

— Не знаю.

— Из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да. Чтобы расспросить о тебе, узнать побольше. Вы же оба члены комсомольского комитета. И он даже заместитель комсорга.

— Что же ты узнала? — поинтересовался Андрей.

— Все, что нужно.

— А именно?

— Ты хочешь, чтобы я сказала, да?

— Мнение командира для меня небезынтересно.

— Княн сказал, что ты активный комсомолец, отличник боевой и политической подготовки. И что пишешь стихи...

— Больше ничего?

— И еще, что немножко гордый.

— Он не расшифровал, что означает это мое последнее качество? — спросил Трубин. У него было такое ощущение, как будто он взбирается по крутому головокружительному мостику вверх, все выше и выше. И все сильнее замирает сердце.

— Нет, — сказала Рита. — Но ведь это так? Ты немножечко гордый, правда?

— Не знаю.

— Гордый, — повторила она убежденно. — И упрямый.

— Ты это и ему сказала?

— Я сказала бы ему другое.

— Что?

Пальцы Риты дрогнули. На мгновение она отвела его руку и тут же снова прижала к щеке.

— Что люблю тебя...

Нет, это все плохо походило на явь. Так только в сказках могло быть. Немыслимое, недостижимое свершилось в один миг. Андрей ушам своим не поверил. Любит! Его любит! Неужели она это сказала?

Ему бы переспросить, убедиться, что не ослышался, но язык сделался непослушным. Но ведь ее глаза рядом: в них нет усмешки. Нет!

Андрей не очень смело привлек девушку к себе. Волосы ее, мягкие и пушистые, коснулись его лица. Он замер, на миг у него перехватило дыхание. Это было счастье! То самое счастье, о котором поют песни.

Они заворуженно глядели сквозь темноту друг на друга.

— Андрей, Андрюша, Андрейка, — шептала Рита. — Имя у тебя хорошее. Звучит по-разному. Для взрослого — Андрей. Для маленького — Андрюша.

— Твое тоже, Рита.

— Мне оно не нравится. Слишком торжественное: Маргарита.

— А я люблю.

— Только имя?

— Нет, тебя, тебя...

— Любишь?

— Очень! Как никогда до этого. Даже на воровство решился.

— Какое?

— Стащил с витрины в клубе твою фотографию. Вот она,— Андрей дотронулся до кармана гимнастерки.

— Погоди,— Рита остановила встревоженно его руку.— Ты сказал: как никогда до этого. А ты все-таки любил раньше?

— Наверное, нет. Были увлечения просто. Сейчас люблю.

— И я. Только сейчас.

— Значит, и от тебя нужны доказательства.

— Я первая призналась в своих чувствах. Разве этого не достаточно? Но ты не очень гордись. Просто обстоятельства заставили. В другое время я бы не сказала.

— К чему ты?

— Мы же военные, Андрей. И должны быть готовы ко всему. Возможно, завтра мы уже и не сумеем ничего сказать друг другу.

— Рита, не будем об этом.

— Не будем,— согласилась девушка.— Расскажи мне о себе, Андрей.

— Ты же знаешь. Сама сказала, что лейтенант Киян рассказывал тебе все. Лучше ты о себе.

— Обо мне?.. Знаешь, у меня ведь только фамилия украинская. А сама я сибирячка, что ни на есть коренная.

Рита вскинула голову, и Андрей не то что различил, а скорее представил, как сдвинулись ее пушистые брови.

— Родителей я плохо помню. Отца убили кулаки в двадцать первом году, во время восстания. Он был в деревне председателем кооперации. Бандиты сначала разграбили лавку, а потом тут же изрубили его шашками так, что невозможно было узнать.

После этого от переживаний маму разбил паралич. Работать учительницей она уже не могла. Перебрались мы к бабушке, в соседнее село. Мама вскоре умерла. Бабушка была старенькая. Остались мы с ней одни в хате, и ничего-то у нас не было. Жили почти одной картошкой,

а летом грибами да ягодами. А сколько ягод в тайге, ты бы видел! Брусника и клюква по болотным кочкам как красные бусы, сплошь. Мы их собирали не руками даже, а специальными грабельками. А голубика, черника... Домой придешь, все синее — губы, пальцы.

Не знаю, как бы дальше сложилась моя судьба, но приехал из армии в отпуск мамин брат, командир. Посмотрел он, как мы с бабкой маемся, и забрал меня с собой. Своей жене поставил шутливо условие: «Хочешь, говорит, Варя, принимай нас двоих. Не хочешь, как хочешь».

— И жена согласилась: «Беру, говорит, обоих. Ладно, живите, куда вас денешь». И мы зажили.

Тетя Варя оказалась человеком замечательным. Меня не обижала. Командирская жизнь кочевая. Где только мы не побывали! В Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Карелии. Три года жили на Памире... Ты меня слушаешь, Андрюша? — встревожилась Рита.

— Ты говори, говори,— поспешил успокоить ее Андрей. — Я слушаю внимательно.

Он действительно ловил каждое слово. Ведь слова были о ней, о Рите.

— Ну, а остальное, как обычно. Училась в школе, увлекалась спортом, особенно лыжами. Выполняла комсомольские поручения. Мы всем классом собирались поступить в речной техникум. Но клятву не все сдержали. И я первая. Меня влекло военное дело. Я перечитала, что нашла, о Фрунзе, о Ворошилове. Картину «Чапаев» смотрела раз двадцать. Завидовала Анке-пулеметнице. В бою за пулеметом, лицом к лицу с врагом: было чему завидовать.

Дома по-разному относились к моим увлечениям. Тетя Варя посмеивалась: «Куда, говорит, нашему брату, бабам, в военные. Пусть уж этим делом мужчины занимаются». Но дядя одобрил: «Правильно, Маргарита,— он всегда называл меня полным именем. — Еще в пятнадцатом веке была женщина-полководец Жанна д'Арк. А почему сейчас не может быть? Дерзай! Вот только с училищем может не получиться. Пока не принимают туда женщин. А ты надежды не теряй, стремись».

Я стремилась. Но дядя оказался прав: ни в одно военное училище меня не приняли. Я даже в наркомат писала заявление, самому Клименту Ефремовичу. Не вышло.

Но в армию я все же попала потом, медиком. Служила в гарнизонном госпитале. Писала по всем инстанциям рапорты с просьбой перевести в строевую часть. И, как

видишь, получилось. Вот и вся моя «одиссея». — Рита на минуту умолкла, прижавшись затылком к доскам, потом улыбнулась. — А знаешь, я поначалу здесь разочаровалась. Городишко крохотный. Знакомых — никого. В части все абсолютные здоровяки, в санчасть канатом не затянешь. Врач-женщина из летной части меня звала к себе. Обещала устроить перевод. И я уже совсем согласилась, а потом передумала.

— Почему?

— Дашу Култаеву встретила. И тебя. Одного из сотни сержантов, как ты выразился. Помнишь, в лесу? Даша тогда про тебя сказала: «Это наш поэт». И спросила: «Симпатичный, правда?» И знаешь, что я ей ответила? «А на меня симпатичные не производят впечатления». Соврала. Ты перед глазами стоял: подтянутый, серьезный, с волнистым чубом, — Рита чуть коснулась его волос, выбившихся из-под пилотки. — Я следила за тобой. Переживала. А ты, вредный, не сказал, что уезжаешь.

— Как же ты узнала?

— Друзья у тебя оказались внимательнее, чем ты.

— Я считал, что для тебя безразлично, уеду я или не уеду. Ты же слышала насчет геометрии.

— Чудак! Как ты мог подумать, ну как?

Они сидели в темноте, рассказывая наперебой взволнованным шепотом обо всем, что пережили, радуясь, что вся мучительная безвестность теперь позади. И не было для них в эти минуты ничего на свете важнее, чем эти взаимные откровения. Обо всем забыли, захлестнутые счастьем, которое чуть-чуть не прошло мимо. И то молчали, то принимались горячо шептаться, почти касаясь один другого губами. Потом губы их слились в поцелуе.

Рита с трудом оторвалась, отвела от себя его руки.

— Не надо, милый

Она не прибавила ничего к этим словам. Он поднялся, нашел свалившуюся с головы пилотку, долго поправлял кобуру, съехавшую набок.

Рита тронула его плечо, осторожно, будто опасаясь, что он не примет этот жест. Андрей поймал ее пальцы, сжал их. Они с минуту молча держались за руки, как бы в знак окончания мгновенной отчужденности.

— Андрюша, ты хмуришься?

— Нет.

— Хмуришься. Я вижу. Не хмурься. Это же все непадолго, правда?

— Что «все»?

— Война. Мы же не последний раз сидим с тобой вот так, как сейчас? Ты веришь?

— Верю.

— И еще будет ночь. Лучше. Скоро будет...

Андрей благодарно сжал ей руку.

— Будет?

— Будет, Андрюша. Хочешь, назову тебя мужем? Мой муж! Как это звучит! Мой муж — Андрей Трубин... — она прижалась щекой к его плечу.

— Ты устала? Усни,— сказал Андрей, в приливе необыкновенной, невыразимой нежности к девушке. — А я посижу, покараулю.

— Нет, ты усни,— возразила Рита. — Я же знаю, ты вторую ночь на ногах. Положи голову вот так,— она отодвинулась слегка, пригнула его голову к себе. Андрей почувствовал щекой квадратный выступ карманчика на ее гимнастерке.

— Ты спи,— повелительно говорит Рита и, сняв его пилотку, кладет к себе на колени. — Закрой глаза и не разговаривай.

— Хорошо. Если получится.

Андрей закрывает глаза и — засыпает.

... Солнечная травянистая поляна, покрытая цветами. Теплый ветер мягко шевелит волосы. И странно, на лице он не чувствуется, только в волосах.

Андрей открывает глаза. Рита перебирает его волосы, чуть касаясь их пальцами.

— Ах, это ты? Мне показалось: ветер. — И снова засыпает. Перед глазами плывет все тот же луг.

Трава, цветы, мягкий шорох ветра. И вдалеке лесистые сопки, у подножия которых раскинулось село. Он идет туда, к этим далеким сопкам, взяв за руку Риту. Напрягаясь, вглядывается в пестрый ряд крыш, пытаясь разглядеть крутую, позеленевшую от времени крышу своего дома.

Где-то далеко-далеко лает собака.

Андрей с усилием сбрасывает дрему, выпрямляется, удивленный переменой. Сени, как разошедшаяся бочка, все в светящихся щелях. Лицо Риты кажется бледным в жидком свете раннего утра. Проспал ..

А на улице ворчат, тренькают цепью о проволоку караульные собаки и неистово дребезжит сигнальный колокольчик над воротами.

Они сидели за обеденным до белизны выскобленным столом как гости. Перед ними выставлено было все, что нашлось съестного: жидкая пшенная каша, сухари и чай, заваренный ягодником. Из всего состава караула с ними за столом сидел один, тоже только что ворвавшийся в ворота вместе с Аветисяном, Адамович. Остальные, на правах хозяев, ждали очереди. Да на всех сразу все равно бы и не хватило посуды.

Никогда в стенах караульного помещения еще не появлялось подобного наряда. Ни один из всех завтракавших не подходил под понятие караульного по внешнему виду. Любого старшина Барабанов отправил бы без разговоров привести себя в порядок. Обожженные на пожаре, измотанные бессонной ночью, ходьбой по ночному лесу бойцы, пришедшие с лейтенантом Култаевым, успели лишь кое-как умыться. Младший сержант Аветисян и без того смуглый, а теперь еще больше почерневший, с повязкой на голове, не замечал, что у него на щеке пятном темнела смола, а в жестком, как сапожная щетка, ежике торчала сухая сосновая иголка.

Лейтенант Култаев и сам был неузнаваем. Он как будто похудел и постарел, скулы у него обострились, щеки запали, в спутанных волосах резко проступала седина, которой раньше Трубин у него не замечал. Всегда опрятная форма на Култаеве была изорвана, гимнастерка грязная.

И глаза у Култаева запали, потемнели, и, когда он приподнимал ресницы, в глазах тоже появлялось что-то незнакомое, напряженное. Рана у него, очевидно, сильно болела, судя по тому, как лейтенант морщился и трогал плечо рукой. Он почти не ел. К каше едва притронулся. Только прихлебывал мелкими глотками чай, не убирая ладони от горячей кружки, словно грел ее.

Уляшев, собиравший завтрак, испуганный всем услышанным за столом, только вздохнул, не решаясь напомнить лейтенанту про совсем уже остывшую кашу, и следил за его кружкой, чтобы хоть чаю подлить.

Сидевшие здесь свободные караульные слушали рассказы пришедших с лейтенантом товарищей, с уважением поглядывали на уплетавшего за обе щеки постную уляшевскую кашу тоже изорванного и грязного Адамовича. Принявший от него рапорт Трубин успел рассказать Култаеву о похождениях «танкиста», хотя сам отчитал его за нарушение приказа.

Мотоциклы, казалось, приготовились к старту. Видно было, как они дрожат, стреляют выхлопными трубами. Немцы приглядывались к строениям склада, показывали на что-то руками.

Андрей на мгновение почувствовал себя будто скованным. Предательская слабость подгибала колени. Вот и встреча с врагом. Держись, старший сержант Трубин.

Внезапно воздух над головой у него колыхнулся, как от стремительно налетевшего вихря, и грохот, дробный и захлебистый, разметал тишину, эхом прокатился по полю. Что-то упало, зазвенело позади. Пригнувшись к земле, Андрей кинулся к окопу, прыгнул в него. Ташаубаев уже принял к прикладу. Грохот «дегтярева» ворвался в сведенный стук немецких пулеметов. Брызнул янтарно-желтой щепой прошитый очередью сосновый столб ворот.

Андрей с лихорадочной поспешностью нашарил в нише запасной диск, сунул его на бруствер перед пулеметчиком. Глянул — немецкие мотоциклы, плюясь сизым дымом, торопливо разворачивались назад. Вот рванулся один, второй едва не сшибся с ним, и оба скрылись в лесу, оставив смятые, исковерканные сосенки у дороги.

Ташаубаев послал вслед короткую очередь и снял палец с гашетки. Как сквозь ватные пробки доносилась трескотня удалявшихся мотоциклов.

Андрей только теперь заметил, что сжимает в руке взмокшую от пота рукоятку пистолета. Когда и зачем он его достал? Смущенный, сунул его в кобуру. Первый бой! Было хмельное чувство торжества: враг отступил! И еще сознание хотя и не полной, но приятной удовлетворенности собой, что хотя и растерялся в самый первый момент, но потом смог переломить себя, не плюхнулся лицом в землю. Это был экзамен, к которому он в душе все время готовился и которого — чего там скрывать — боялся.

Взбудораженные, не успевшие остыть от пережитого, они с минуту стояли в окопе, напряженно прислушиваясь и глядя на опушку леса, где все еще держалось облачко выхлопных газов.

Андрей будто сбросил тяжелую ношу, перевел дух.

— Удрали, Касым?

— Ушел, — кивнул хмуро боец. — Жалко, целый ушел. Плохо Ташаубаев стрелял, товарищ старший сержант. — Он сплюнул с досады. — Диск зря портил. Такой пулеметчик гнать надо. Давай другой первый номер. Белый свет патрон пускал. Какой толк? Командиру части сам буду

говорить. Зря отпуск давал. На стрельбище — мог, в бою — не мог. Зачем такого домой отпускать? Какой отличник?!

Огорчение Ташаубаева было таким искренним, что Андрею стало жаль его.

— Ладно, — махнул он рукой. — Будет возможность исправиться. В другой раз будешь стрелять лучше. Придут они.

— Придут? — переспросил боец. — Конечно. Как волк. Один раз в кошару пришел, другой раз обязательно придет.

— Если бы только как волки. Хуже волков. — Андрей хотел сказать что-то еще, но к окопу бежал запыхавшийся, непривычно возбужденный ефрейтор Кучкильдин.

— Товарищ старший сержант, давай скорей! Там лейтенант ранен!

Что прежде всего бросилось в глаза Андрею в караульном помещении — это осколки стекла на полу в передней. Сидя на корточках, Адамович складывал их в пилотку. В разбитое окно тянуло сквознячком. Уляшев тряпкой пытался собрать разлившийся по столу чай. Бледный, несмотря на смуглость, казавшийся особенно большеглазым младший сержант Аветисян держал в руках чайник, трогая пальцем загнутые, внутрь рваные края пробоины. Красноармеец Бугаев, высокий, в порванной на спине гимнастерке, по-журавлиному склонив голову, зубами затягивал узелок на обмотанной носовым платком кисти руки.

Бойцы, толпившиеся тут же, молча посторонились, пропуская начальника караула.

— Там он, — опережая вопрос Трубина, кивнул Аветисян на комнату для отдыха наряда и торопливо объяснил: — Очередь в окно, понимаешь? Какой дурак, скажи пожалуйста, строил в ту сторону окно? Зачем? Могла всех положить, очень даже просто. В лейтенанта угодила. Бугаева чуть-чуть задела. Как будто специально лейтенанта выбрали, гады! Один раз ранен, второй раз.

Глаза Аветисяна загорелись яростью.

Трубин машинально тронул еще не остывший чайник и прошел мимо стола, в соседнюю комнату. Лейтенант Култаев лежал на топчане, лицом вверх. Набухшая, потемневшая от крови гимнастерка была сдвинута к подбородку. Пряхин, горбясь по-стариковски, подсовывал ему под голову скомканную шинель. Рита, стоя перед раненым, срывала хрустящую обертку с индивидуального пакета. Она глянула на Андрея, услышав его шаги, но ничего не

сказала, только закусила губу и взглядом дала понять, чтобы он молчал.

Андрей по заострившемуся, без кровинки лицу Култаева, по выступившим на лбу капелькам пота понял — положение серьезное.

Рита торопилась. Пряхин по ее команде осторожно подsunул под раненого ладони, чуть его приподнял, и Рита, перехватывая из руки в руку освобожденный от обертки индивидуальный пакет, перепоясала лейтенанта бинтом, тут же пропитавшимся кровью. Она хотела повторить движение, но Култаев вдруг открыл глаза и удержал ее руку. Губы его, плотно сжатые, тронула улыбка.

— Погоди-ка, доктор, — Култаев повел взглядом на начальника караула. — Что с противником, Трубин?

— Мотоциклисты это... немцы... Отогнали мы их, — поспешил ответить Андрей.

— Потерь нет?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Из караульного помещения всех убрать. Подставляться противнику не будем — это первое. — Култаев перевел дыхание, шевельнул рукой. — Второе: нужно оружие. Всем. Где взять? Винтовки мы не найдем. Но гранаты и патроны есть. Хранилище номер пять. Возьмите сейчас же. Будете за командира взвода, Трубин!

— Есть!

— Ну вот, — Култаев закрыл глаза, — теперь, доктор, можешь действовать, если будет толк.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В стороне высоко пролетел самолет, сбросил листовки. Белые, невесомо-легкие, они долго кружили в полинялом от зноя небе и опустились в лесу. Один листок потоками воздуха донесло к территории склада. Он медленно, словно нехотя, снизился над оградой, на секунду повис на проволоке, покачиваясь, как живой, и потом скользнул вниз, покорно лег в траву.

Караульные, с пригорка возле ворот, от окопов, заворуженно следили за падавшей бумажкой. Нетерпеливый Адамович вскочил, подбежал к забору, поднял листок. Возвращаясь, он успел на ходу пробежать взглядом написанное и, вдруг потеряв всякий интерес, странно вялым жестом положил листовку перед начальником караула.

— Не зря головы задирали: дар небесный, — без улыбки

ки сказал Адамович и, немного отступив, ладонью потер шею, как бы в доказательство того, как она устала.

Трубин при виде звезды с серпом и молотом, жирно оттиснутой сверху листка, почувствовал радостный толчок в сердце. Наша!

От нетерпения строчки, набранные в одну широкую колонку, запрыгали перед глазами.

«Товарищи красноармейцы и командиры! Немецкие войска продолжают наступление. Танки противника заняли Вильнюс, Ригу, Тернополь и другие крупные советские города и промышленные центры и подходят сейчас к Минску. Авиация противника бомбит Москву и Ленинград. Часть наших войск разбита и взята в плен.

Не время говорить о причинах неудач Красной Армии. Виновники поражения — враги народа, будут выявлены и понесут наказание. Задача состоит в том, чтобы спасти оставшиеся силы. Наркомом обороны, с согласия товарища Сталина, отдан приказ об отходе. Соппротивление разрозненных групп превосходящему во много раз по силе противнику может привести в сложившихся условиях лишь к новым тяжелым и ненужным потерям. Надо отходить на восток! Там старая граница, там укрепайоны, которые задержат противника, не дадут ему продвинуться дальше ни на шаг. И там Красной Армии обеспечена полная поддержка населения, ибо эти районы давно советские.

Товарищи красноармейцы и командиры! Отходите. Если отдельные лица, независимо от ранга и занимаемой должности, будут препятствовать отходу, знайте: они нарушают приказ. Главное теперь — спасти самих себя. Оставляйте материальную часть, бросайте оружие. Наша оборонная промышленность достаточно наковала его про запас.

Отходите лесами и болотами, там танки противника не страшны. Не падайте духом. Территория нашей страны велика. Потеря части ее еще ничего не означает.

Мы отойдем, но зато соберемся с силами для ответных ударов и победы.

Командование Красной Армии».

Андрей дочитал листовку со смешанным чувством недоумения и тревоги. Взялся перечитывать в надежде уяснить смысл. Мысли разбегались. Всем отходить. Бросать материальную часть. Что-то не то. Нет!

Он вопрошающе обвел взглядом караульных, вспомнил, что они еще ничего не знают, и отдал листовку стоявшему рядом Пряхину. Тот не спеша спрятал вынутый из кармана кисет, стал читать, хмуро сдвинув брови. Через несколько минут листовка так же молча перешла в руки Аветисяна, потом Кучкильдина, последним ее взял Клевакин. Своего мнения никто не высказывал, все молчали.

— Неужели Красная Армия разбита? — горестно произнес Зайцев. — Подпись — «командование».

— Какое «командование»? Ты знаешь? — взорвался Аветисян. — Есть командование дивизии, корпуса, военного округа. Нарком обороны есть. Почему не указывается конкретно? Фамилии почему нет? Кто писал? Мы не знаем. Может, вредитель какой, чтобы панику сеять.

— Что за самолет? Видел кто-нибудь? — спросил Трубин, обращаясь ко всем сразу. Но, оказывается, самолет, сбросивший листовки, никто не сумел разглядеть.

— Да-а. Значит, немцам дороги, а самим — лес да болота. Вежливо, ничего не скажешь, — Пряхин покачал головой, усмехнулся. — В финскую войну так же вот маннергеймовцы про Ленинград писали: нечего, мол, торчать на перешейке, через доты да надолбы прогрызаться, а надо Ленинград спасти, отойти назад подальше. И все это под видом приказов нашего командования и с подписью.

— Товарищ Сталин велит оружие бросать? Кто поверит? Вранье! Зачем время терять на эту бумажку! — в запальчивости Аветисян попытался выхватить листовку у Клевакина, который продолжал внимательно ее рассматривать. Клевакин успел отвести его руку. Изрытое оспой лицо пожарника побагровело.

— Ты чего?

— Брось, слышишь? Смотреть не могу. Непонятно разве: фашистская листовка.

— А ты понял?

— Всем понятно.

— Отойди.

Минуту они стояли друг против друга, один — маленький, взъерошенный, с глазами, пылавшими возмущением; второй — на голову выше, с виду спокойный. Вспыльчивый, прямолинейный Аветисян и раньше нередко схватывался с пожарником, не выносил его. Схватки эти, в которых нападающим обычно был первый, кончались миром.

На этот раз так не получилось. Клевакин свернул аккуратно листовку, с явным намерением спрятать ее в карман. Геворк возмущился.

— Брось! Прошу,— сказал он, сдерживая кипевший гнев. — Слышишь!

Клевакин выдавил усмешку:

— Чего завелся?

— Противно. Сохранить хочешь? На память. Берешь за чистую монету, что здесь написано?

— У каждого своя голова.

— Значит, веришь?

— А если и верю?

— Ты веришь? — Аветисян даже отшатнулся изумленно. — Фашистам, выходит, веришь? Один. Никто больше не поверил. Ты только. А ну повтори, что сказал! Чтобы всем было слышно.

— А это еще поглядеть придется, кому надо раньше сказать насчет фашистов — мне или тебе,— засовывая листовку в карман брюк, сказал Клевакин, и лицо его стало бледнеть.

Это уже было больше, чем просто столкновение характеров. Пора было положить конец стычке.

— Всем по местам! — скомандовал Трубин. — Сержант Аветисян и младший сержант Клевакин, прекратить разговоры!

— А это разговор принципиальный.

— Повторяю: прекратить!

С трудом сдерживая себя, Аветисян бросил Клевакину, отходя в сторону:

— Оставим объяснения до более подходящего момента.

Но Клевакин не тронулся с места. Всем своим видом он показывал, что разговор прекращать не собирается.

— Младший сержант Клевакин,— Андрей повысил голос. — Вы слышали приказание? Марш на место!

— А я не вхожу в состав караула, товарищ Трубин, можешь не приказывать. Свое место я как-нибудь сам найду. Не здесь. И учти: о твоих тут прикрывательствах кое-кого... сообщу куда положено. По-моему, мы на этот счет с тобой разговор имели. И я предупреждал. Отвечать тебе придется.

Клевакин скользнул взглядом вкось как-то, мимо начальника караула и повернулся с видом человека, который сказал все, что надо было сказать. Он сначала вроде направился к окопу, но, не дойдя несколько шагов, вдруг

круто повернул в сторону, к воротам. Шел медленно, уверенной походкой, как обычно ходил, но потом, чувствуя на себе взгляды товарищей, заторопился, словно боясь, что его могут остановить.

Все молча смотрели ему вслед, изумленные, сбитые с толку. И Андрей смотрел и чувствовал, как в груди начинает мешать дыханию какой-то клубок.

Андрей опустил в окоп, возле которого стоял. Все поняв, он тем не менее еще надеялся, что младший сержант одумается, вернется. Это у него из-за безграничной веры каждой бумажке.

Но Клевакин не останавливался. Вот он уже возле ворот, вот откинул засов и вышел за территорию. Тут он на ходу стянул с себя, как ненужную вещь, сумку с противогазом и бросил, чтобы не мешала.

— Облегчается,— заметил Пряхин, делая ладонь козырьком. — Глядишь, и до сапог дойдет.

— Не зря листовку спрятал. Драпать решил, как заяц,— возмутился Аветисян, загораясь неулегшимся гневом.

— Младший сержант Клевакин, назад! — Андрей крикнул хрипло, каким-то чужим голосом. — Назад, Клевакин! Стой! Слышишь?

Но тот не отозвался. Свернув с дороги, ускорил шаг, почти побежал напрямик, с расчетом сократить расстояние до леса.

Андрей до боли закусил губу. Никогда еще приказание его не повисало вот так впустую в воздухе. Надо было остановить Клевакина, заставить подчиниться и не ради себя, а во имя чего-то гораздо большего...

Мысли бились в голове, выстукивали. И вдруг Андрей обнаружил, что смотрит на убежавшего младшего сержанта через кольцо намушника. Спина у Андрея взмокла. Пот застлал глаза. И вдруг плену как сдернуло. Воздух дрогнул от раскатистого щелчка, одного, второго.

Фигура в кольце намушника замерла, как в остановленном кинокадре. Клевакин словно наткнулся на невидимое препятствие. Секунду он стоял неподвижно, неестественно выпрямившись, потом качнулся, заковылял, запинаясь и оседая, как переломленный пополам.



Оказывается, человеческое внимание способно в момент самых острых потрясений замечать десятки посторонних, ничего не значащих, ненужных мелочей.

Продолжая глядеть в прорезь мушки, Трубин видел пожелтевшую от жары стрелку пырея, муравья, пробиравшегося между комочками глины, крохотную божью коровку, которая упорно карабкалась вверх по винтовочному ремню. И медленно тянул на себя затвор. С перехваченным дыханием ждал: звякнет стреляная гильза.

Патрон подавался неохотно. Вот он, наконец, весь. Тускло блеснуло острие пули. Цель! Значит, стрелял не он. Андрей оторвал взгляд от неподвижной фигурки Клевакина за оградой, посмотрел на опушку леса. Там были немцы. Фыркал приглушенно мотор автомашины, доносились голоса команд, громкие и отрывистые, как ругань. Что-то ослепительно блеснуло за одной из сосен, наверное, стекла бинокля.

Почуяв чужих, залаяли разноголосым хором караульные собаки. Все бойцы напряженно смотрели на поляну за проволокой, на опушку знакомого леса.

Щуплый Геворк совсем сжался, окаменел от напряжения за низким бруствером. За Аветисяном из окопчиков чуть виднелись головы Ташаубаева, Зайцева, Адамовича, Кучкильдина и всех остальных бойцов караульной команды Трубина. Красноармейцев, приведенных лейтенантом, Андрей разместил в окопах на флангах и с тыла. Пряхин, лежа справа от Андрея в трех шагах, в суровой сосредоточенности трогал прицельную планку, отсвечивавшую на солнце. Вынутые из подсумка обоймы желтели под рукой, как обломки большого латунного гребня. Пряхин приготовился к бою. Но, несмотря на суровую углубленность в себя, он не оставлял незамеченными переживания начальника караула, и Андрей это почувствовал. Стало легче от мысли, что лежавший рядом с ним усатый человек спокоен. Значит, все идет как надо.

— Вот как оно бывает, — как бы про себя произнес Пряхин. — От чего бежишь, возле того окажешься. Думалось человеку, что беду позади оставляет, а она — навстречу... Ну что, старший сержант, — чуть повернулся он к Трубину, — встречать надо гостей-то, пожаловали.

— Приготовиться к бою! — приподнявшись, скомандовал Андрей.

— Стрелять-то, однако, далековато,— заметил Пряхин. — Подождать придется.

— Огонь без команды не открывать! — крикнул Трубин.

Надо было, наверное, что-то еще добавить. Но что? Что еще должен сделать командир перед боем? Провести разведку. Положено иметь сведения о численности противника. Но с этим теперь уже поздно.

Прищурившись, Андрей прикинул расстояние.

— Дистанция! Прицел! — отдавал приказания Трубин, как на стрельбище.

Им начало овладевать нетерпение. Скорее бы уж атака, чтобы не ждать, не томиться. Дрожь растекалась по всему телу. Так бывало на экзаменах, когда тянул билет.

Ладонь прикипела к винтовке. До боли стиснуты зубы. А в воздухе все еще держалась тишина. Только тревожно лаяли собаки, чуя опасность.

Немцы высыпали на поляну сразу, как грузди из опрокинутой корзины. Побежали и, непрерывно стреляя из автоматов, растянулись в цепь по обе стороны дороги.

Андрей крикнул:

— Огоны! — и махнул рукой. Голос его потонул в грохоте выстрелов. Пряхин передернул затвор, и в траву, кувыркнувшись, упала гильза. Крикнув что-то по-армянски, выстрелил Аветисян. Заработал «дегтярев» Касыма Ташаубаева.

Андрей принял щекой к прикладу. Дрожь прошла, но сердце стучало с перебоями, заставляя подрагивать мушкету. «Цель движущаяся — брать под обрез», — промелькнула заученная на тренировках по стрелковому делу фраза. Он нажал на спусковой крючок, целясь в одну из серозеленых фигурок. В плечо ударило — плохо прижал приклад. На мгновенье стало жутковато от сознания, что впереди все-таки не мишень, которую тянут веревкой спрятавшиеся в глубоком окопе красноармейцы, а живые люди. Но перед глазами возник комсомольский билет Васи Коржова с маленькой тускловатой фотографией, с голубыми страничками в оттисках штампов; встало белое, без кровинки, лицо лейтенанта Култаева, и гнев оттеснил все остальные чувства. Он прицелился и выстрелил раз, другой, третий...

От толчков в плечо сползла на глаза пилотка. Андрей досадливо толкнул ее назад. Пилотка свалилась. Выстрел, еще выстрел.

Воздух над окопом трещал, его словно рвали на куски, как туго натянутую парусину. Рвануло над самым ухом. Взметнулась глинистая пыль с бруствера. Пули... Разрывные... Андрей запоздало отдернул голову, с досадой и злостью ловил выскочившую из полукружья намушника фигуру фашиста.

Немцы залегли. Огонь ослаб.

Потрескивали отдельные автоматные очереди. Значит, остановили их, прижали к земле. Трубин оторвался от приклада винтовки, оглянулся. Рядом, возле его окопчика, припав грудью к земле, лежала Рита. Видно, она только что подползла и часто дышала, выбившиеся из-под пилотки волосы прилипли к мокрому лбу. В руках у Риты была санитарная сумка.

Ему стало страшно за девушку.

— Осторожнее! — крикнул Андрей. — Голову ниже, голову!

В воздухе тонко и отрывисто тенькнуло раз, второй. Рита, опираясь на локти, придвинулась к брустверу, досадливо отвела рукой упавшую из-под пилотки на глаза прядку. Трубин ощутил на щеке ее горячее, прерывистое дыхание.

— Андрюша, ты цел? Я так боялась.

— Не поднимайся! Лежи! Как лейтенант?

— Он пытался выйти, как только услышал стрельбу. Я его уложила. Ты не волнуйся. Никто не ранен? — Рита как бы торопилась объяснить свое появление и вместе с тем успокоить его.

Андрей, позабыв, что сам только что предупреждал девушку об опасности, приподнялся, оглядел бойцов: все ли целы? Пряхин в соседнем окопе ворочался, искал опоры для руки. Аветисян вставлял торопливо в затвор обойму. Чуть дальше торчала из окопа пилотка Ташаубаева. Кажется, все в порядке.

— Андрей, это началось? По-настоящему, да?

— Не знаю. Подожди.

Немцы лежали. Их почти не было видно, только по редким дымкам от выстрелов можно было угадать, где цепь. Теперь, когда они залегли, прижатые огнем, Трубину показалось, что их не так-то уж и много: взвод, от силы — два. Во всяком случае, меньше, чем он думал вначале. Ему радостно вдруг стало от того, что он и его бойцы не пустили врага вперед и что это хотя и небольшая, но уже какая-то победа. Пусть, может, через минуту, немцы встанут,

сделают попытку приблизиться к складу, но сейчас-то лежат, не решаются!

Вместе с чувством торжества первой победы в бою пришла к нему уверенность в том, что они отобьют натиск фашистов, заставят их уйти.

А немцы лежали, не возобновляя атаки. Так длилось с полчаса. Потом выстрелы с их стороны прекратились, донеслась команда. И фигурки в траве зашевелились, стали отползать к лесу.

Аветисян, не умевший сдерживать своих чувств, торжествуяще воскликнул:

— Ура! Задний ход дают! Получили в зубы! Очень хар-рашо!

Немцы что-то волокли с собой, не то раненых, не то убитых. Вот они поднялись, скрылись за сосенками. От опушки леса простучала в последний раз автоматная очередь, опять донеслась команда, взревели, удаляясь, автомашины, и стало тихо.

В сумерках Андрея Трубина, обходившего выставленные на ночь посты, позвали к лейтенанту Култаеву. Его встретила Рита. Губы ее дрожали.

— Он хочет тебя видеть. Все время теряет сознание и просит пить. А ему нельзя. Очень плохо ему.

Андрей с занявшим сердцем перешагнул порог.

Лейтенант лежал на топчане, укрытый шинелью, с руками, вытянутыми вдоль тела, с плотно закрытыми глазами. Когда Андрей приблизился, он приподнял веки. Стоявший рядом Пряхин придвинул Трубину табуретку.

— А, комендант гарнизона,— сказал Култаев едва слышно, пытаясь улыбнуться сухими, обметанными жаром губами. — Все командование в сборе. Да, командование,— повторил он, видимо, уловив недоумение на лице сержанта. — Командир. — Култаев чуть повел глазами на Пряхина. — И комиссар. Все правильно. Докладывайте обстановку.

Андрей коротко рассказал про бой с немцами, про то, что на ночь усилены посты и послана разведка.

— Гранаты взяли? — перебил Култаев.

— Взяли.

— Патроны?

— Тоже.

— Ну, дальше. — Судя по взгляду, лейтенант слушал. Но, после того как Трубин умолк, отозвался не сразу, молчал, словно возвращаясь из какого-то далека.

— Я рад,— наконец сказал он. — Рад, что бойцы караульного взвода встретили врага достойно. Передайте мою благодарность всем. И скажите...

Култаев, словно упустив нить мыслей, нахмурился. На лбу заблестела испарина. Видно, нелегко давалось ему каждое слово. Андрей растерянно смотрел на военфельдшера.

— Товарищ лейтенант, а может быть, потом. Мы подождем.

Култаев остановил его движением руки.

— Скажите. Пускай всем не кажется бессмысленным то, что мы, в окружении, держимся за какой-то склад... Это не фанатизм. Война всенародная... Задача — уничтожить врага, где только возможно... Мы уничтожим здесь, сколько сумеем... Наш склад станет, хоть и маленькой, но крепостью. Таких крепостей на пути врага много. И это для нас теперь не просто территория склада казенного имущества... Это часть нашей земли... Частица родины...

Он помолчал, потом, собрав последние силы, оперся на локоть и сказал, четко чеканя слова:

— Старший сержант Трубин, приказываю: удерживать территорию до последних сил. Уничтожать врага. Ждите прихода наших войск. Если же немцы прорвутся к складам — отходите. Склады взорвать.

Култаев умолк в изнеможении, испарина блестела теперь по всему лицу. Рита склонилась над ним с полотенцем. Лейтенант попросил пить, и она поднесла к его губам кружку с водой.

— И еще. Насчет того, что Красная Армия разбита... Пусть фашисты не врут. Не разбить ее никому... Мы еще будем праздновать победу. Невиданную победу. Не может не победить тот, кто прав... А правда за нами.

Он помолчал и тихо закончил:

— Только не дожить мне. А жалко,— голос Култаева дрогнул,— не пришлось повоевать, и не придется.

— Мы еще повоюем вместе, товарищ лейтенант. Повоюем,— попытался успокоить его Пряхин.

— Нет, старина, нет. Я чувствую. — Култаев попытался сделать протестующий жест и не смог, уронил руку. Рита успела придержать его голову, начавшую съезжать с изголовья. Лейтенант застонал.

Андрей, постояв с минуту над неподвижным телом лейтенанта, вышел в сени, нашарил в темноте знакомую

скамейку с бачком для воды, присел, щекой прислонился к шершавой дощатой стене.

Вышла Рита. Заметив, что он здесь, остановилась рядом, беспомощно всхлипнула.

— Андрей, я ничего не могу сделать, ничем помочь.

— Успокойся,— Трубин дотронулся до ее плеча.

— У меня же ничего нет, кроме бинтов и йода.

— Сядь,— сказал Андрей, подвигаясь на узенькой скамейке и освобождая возле себя место. — Посиди, тебе надо отдохнуть. Пряхин там побудет.

Рита послушалась. Молча сидели они, занятые горькими мыслями, в темноте касаясь друг друга плечами и словно поддерживая друг друга. А с улицы, как и вчера в эту пору, доносились лягушачья переключка, бульканье перепелов, и, как вчера, накаленные за день солнцем доски стены густо пахли смолой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Выход на дорогу не входил в задачу Адамовича. Цель разведки, в которую он и на этот раз напросился сам, была проще: узнать, ушли ли немцы из леса. Но командир не ограничил его в действиях. Разрешил поступать по обстановке. Сам Адамович поставил перед собой дополнительное задание: раздобыть оружие и, по возможности, продуктов. Как это сделать, он пока не знал. Но именно с этой целью направился к шоссе.

Добравшись, Адамович залег близ обочины, в кустах, вынул из-за пазухи врученный Трубиным наган.

По шоссе перед его глазами проносились машины, набитые фашистами. Шли танки, испятнанные камуфляжем, тягачи с пушками, катили слоноподобные штабные автобусы, автоцистерны с горючим — и все туда, за откатывающимися на восток боями. «Не то, не то», — шептал Адамович, пропуская машины.

Уже вечерело, горел над лесом закат. Надвигалась ночь, вторая ночь войны. На дороге показался конный обоз. Станным, будто из старины всплывшим показался он после потока техники. Десятка полтора длинных тяжелых фур, в которые были впряжены рослые, гнедой масти кони, катили по дороге, держась обочины, чтобы не мешать основному транспорту, наполняя вечерний пронизанный пылью воздух перестуком кованых скатов.

Видно, это была какая-то хозяйственная команда, двигавшаяся за передовыми частями. В фурах громоздились бочки, ящики, мотки кабеля. Ездовые в расстегнутых мундирах; в пилотках, сбитых на затылок, свесив через борт ноги, лениво подергивали вожжами, поглядывали вокруг с таким видом, словно собрались по обычным крестьянским хозяйственным делам. В некоторых повозках поверх клади сидели по одному, по два солдата, которые спокойно дремали или курили, оставляя в воздухе сизые завитки дыма. Сквозь стук колес и цоканье подков слышался немецкий говор.

Последняя фура задержалась, видно, разладилась упряжь. Ездовой остановил лошадей, крикнул что-то остальным и, соскочив с передка, стал возиться с постромками. Сначала он делал это стоя сбоку, потом перемахнул через дышло, протиснулся между лошадьми, наградив ту и другую шлепком по массивным куцехвостым крупам.

Лежавший в повозке на спине солдат приподнял голову, видимо, спросил, в чем дело. Ездовой ответил ему, и тот снова улегся, подложив локоть под голову, надвинув на глаза пилотку.

Внезапно возникшее решение заставило Адамовича внутренне сжаться. Обоз укатил уже на порядочное расстояние и скрылся за выступом леса. Позади шоссе тоже пусто. Повозка одна, до нее рукой подать. Сначала по кювету, ползком, потом — бросок! Можно успеть без шума. Да если и шум, тоже не страшно.

Адамович сунул за пазуху наган. Собрав силы, он бесшумно пробрался через кусты, пополз по оплетенной травой канаве. Все его чувства как бы сконцентрировались в одной точке — на лице немца, закрытом пилоткой, и на торчавшем из повозки карабине. Адамович даже о самом немце думал меньше, чем об этом карабине: не пропустить момент, успеть овладеть им раньше, чем немец за него схватится.

Он немного промахнулся из-за поехавшей из-под ног облитой маслом травы и не смог сразу дотянуться до борта повозки: схватился за кованый обод колеса и, сохранив огромным напряжением равновесие, рванул на себя карабин.

Остальное произошло мгновенно. Он ударил прикладом немца, который лежал в повозке, и уже потом выстрелил в побелевшего от ужаса ездового. Повернуть лошадей, съехать с шоссе — было делом недолгим. Минуту

ку, изумленно глядя на надпись. Планка пошла по рукам. Когда она попала к младшему сержанту Аветисяну, он прочитал вслух: «Вильгельмштрассе».

— Улица Вильгельма,— перевел он, вспомнив значение слова «штрассе».

— Так это же вывеска, название улицы! — удивленно сказал он. — Вот тебе и оружие.

— Да-а,— произнес Пряхин, разглядывая трафарет и постукивая по эмали ногтем. — Штука аккуратно сделана. Запасливые люди: везут на наших улицах вешать.

Теперь назначение дощечек дошло и до сознания остальных бойцов. Аветисян, не умеющий себя сдерживать, швырнул планку под ноги. А Адамович, ожесточившись, взламывал остальные ящики, все еще надеясь найти оружие. И надежда его оправдалась. В последнем, забытом ящике лежали четыре тщательно смазанные автомата, магазины и патроны россыпью. Видно, обозные везли их кому-то специально.

Обрадованные находкой, бойцы забыли о конфузе Адамовича. А он, не ожидая благодарностей, схватил вожжи, погнал тяжеловозов. Кони понесли затарахтевшую повозку под горку, мимо караульного помещения в дальний угол двора, к проволоочной ограде, вызвав беспокойный лай караульных собак.

Обсудить событие не успели. Из леса снова донеслось урчание автомашин и чужие слова команды. Бойцы бросились по местам. Трубин сунул немецкий автомат Аветисяну. Подумал и передал второй Кучкильдину, третий Адамовичу. Четвертый взял себе. Уложил его поудобней на бруствер, вырыл в стенке окопа нишу, положил в нее запасные магазины и на пилотку горку патронов, присмотрелся. Немцы накапливались на опушке леса.

Задача — уничтожить врага, мы уничтожим здесь, сколько сумеем,— припомнились слова лейтенанта. Андрей прицелился и дал длинную очередь. Автомат упруго бил в плечо отдачей. Дружно стреляли и остальные красноармейцы.

— Ахтунг! Ахтунг! — покрыл грохот выстрелов голос. — Внимание! Внимание! Говорит представитель командования германской армии.

«Громкоговоритель», — догадался Андрей. А голос продолжал, с подчеркнутой правильностью выговаривая слова:

— Гарнизону военного объекта русских. Слушайте.

Германское командование предлагает вам капитулировать. Мы ценим вашу верность долгу и знаем от нашей разведки о вашем умении обороняться. Но к чему ваше упорство? Красная Армия отступает по всему фронту. Зачитываю сводку за вчерашний день: «Германские войска на минском и ряде других направлений продвинулись к вечеру на 50—100 километров, ломая повсюду сопротивление противника. Передовые танковые части подходят к Риге...»

Как видите, сменить вас некому, равно как и оценить ваше мужество. Сдавайтесь. В противном случае, погибнете все. Что вы сделаете против целой армии? Вы на пороховой бочке, один наш снаряд — и взлетите на воздух. Решайте. Даем вам пятнадцать минут.

В репродукторе опять щелкнуло, зашипело. Диктор умолк. Андрей невольно взглянул на часы. Пятнадцать минут. Повернулся к соседнему окопу, который, как и накануне, занимал Пряхиц. Тот неторопливо, словно ничего не произошло, раскладывал возле себя обоймы и, как бы отвечая на молчаливый вопрос начальника караула, сказал:

— Красная Армия отошла, верно. Но как отходит она — по канонаде слышно. Успели, видать, убедиться, оттого и уговаривают. И склад им наш нужен в целости. Видал, вежливые какие: ценят верность долгу. Мать их...

Аветисян прокомментировал ультиматум проще:

— Посмотрим еще, кто раньше отправится с визитом к предкам! Пусть фашисты сами идут сюда, здесь поговорим на близкой дистанции. Пожалуйста!

И Андрей, вдруг успокоившись, почти хладнокровно оглядел окопы, скомандовал:

— К бою!

Немцы были точны во времени. Едва минутная самодельная стрелка на больших «кировских» часах Трубина, вставленная Васей Коржовым взамен утерянной, миновала последнее деление, громкоговоритель на опушке леса ожил.

— Срок истек. Дается еще пять минут. Дополнительно. Зачем безумство? Вывешивайте белый флаг, и мы не будем открывать огонь!

— Агитирует. Зачем агитировать? Сказано, пусть идут сюда на разговор. А если я глухой, не слышу на расстоянии? — ворчал возмущенно Аветисян.

Пять минут прошло. С опушки леса застучали наперебой выстрелы, рождая эхо, и следом показались немцы.

Цепь серо-зеленых фигурок, более густая, чем в первый раз, вытягивалась в стороны, образуя полукруг. Воздух словно стал плотнее, ощутимее от переполнявших его звуков. Как и вчера, немцы вели огонь с ходу. Но в этот раз они вроде бы не торопились. Едва отделившись от леса, стали замедлять шаг.

Андрей недоумевал: в чем дело, что заставило наступающих так быстро остановиться? И вдруг все стало понятно. Из-за деревьев на дорогу, приминая росшие на опушке сосенки, вырвалась с ревом, слышным сквозь выстрелы, пятнистая, приземистая, почти квадратная, похожая на танк машина. Трубину с первого взгляда она танком и показала, правда, странной формы, будто со срезанной башней. Холодок неприятно пополз по спине. Танку нипочем проволочная ограда.

Но, приглядевшись, он различил колеса, и на душе стало легче: не танк. Так вот почему немцы медлили...

— Бронетранспортер,— определил Пряхин, не отрываясь от винтовки.— Таковую холеру не возьмешь сразу. Броня по бортам от пуль. Одно средство — угодить в амбразуру, а с ближайшей дистанции — гранатой. Пехоту свою хочет прикрыть.

Так оно и оказалось. Цепь немцев разорвалась, освобождая дорогу, и едва машина проскочила в этот разрыв, снова сомкнулась сзади. Бронетранспортер, на мгновение приостановившись, словно для разбега, рванулся с места, выбросив ключья черного дыма, покатил, покачиваясь на неровностях дороги. Немцы побежали следом. В треск выстрелов ворвался новый перекрывший их звук: точно по железной доске застучало гулко, прерывисто — бронетранспортер бил из крупнокалиберного пулемета. Грохочущая, в сизом облаке выхлопных газов, в пыли, выплескивая смертоносный огонь, машина грозно накатывалась. А следом бежали немцы, стараясь поскорее под прикрытием бронетранспортера достичь ограды.

Стремительно — так казалось Андрею, напряженно следившему за машиной, — сокращалось расстояние. Вот уже бронетранспортер на полдороге, вот еще ближе. Встают, мечутся перед бруствером окопов фонтанчики пуль.

Думая о предстоящем бое, он рассчитывал только на атаку пехоты, на такую, как вчера. Как же быть теперь, что предпринять? И лейтенант Култаев не поможет, не слышит и не услышит он этого боя.

Андрей с болью в душе оглянулся на домик конторы, на окно с прикрытой ставней...

Выход подсказал Пряхин:

— Отсекать пехоту. Пулеметом отсекай! — прокричал он, продолжая стрелять.

Андрей понял. Вскочив, побежал к окопу Ташаубаева, пригибаясь, не глядя на бешено мечущиеся по пригорку пыльные всплески от пуль. Вот они взметнулись почти у ног, Трубин упал, и вихрь пролетел у него над головой. Но окоп пулеметчиков был уже рядом.

— Касым, бей по пехоте! Отсекай их! Слышишь?

Ташаубаев в ответ только чуть скосил прищуренными глазами, и плечо его задергалось от заработавшего пулемета.

А бронетранспортер приближался. Он оторвался от наступающих. Вот он в ста метрах от ограды, вот в пятидесяти... Четко виден белый крест на броне, уютообразный закрытый радиатор, виден квадрат амбразуры впереди, откуда бился, не прерываясь, клубок желтоватого пламени. Еще минута, две — и удар в ворота... А немцы бежали со стрельбой, с криками, захваченные азартом боя.

И тут с бронетранспортером, готовым сокрушить ограду, что-то случилось: он вильнул вбок, съехал с дороги, задергался, как заналыженный бык, и замер, накренившись, упершись радиатором в проволоку. Желтое пламя в амбразуре погасло. Не зря, наверное, целился в амбразуру машины невозмутимый Пряхин.

Лишившись прикрытия, прижатые огнем ташаубаевского пулемета, немцы остановились, залегли. Атака захлебнулась.

Стало слышно, как внутри бронетранспортера судорожными толчками дорабатывал мотор.

Не веря еще передышке, бойцы прятались за брустверами. Ташаубаев, не отрываясь от пулемета, поправлял съехавшую с головы пилотку. Зайцев, стоя рядом с ним в окопе, поспешно наполнял запасной диск патронами из наполовину вскрытой цинки.

Трубин, грудью налегая на землю, вытаскивал из-под себя давившую бок кобур с пистолетом. Немцы лежали на выкошенной траве серыми бугорками. Точно так же три дня назад на этой же поляне темнели копенки сена, собранные Уляшевым. Только немцы располагались по-иному — полукругом, впереди реже, вразброс, позади по-

жимаясь к земле и волоча за собой в одной руке связку гранат.

Возможно, вражеский пулеметчик в бронетранспортере сразу не заметил его: первая очередь хлестнула в сторону Тугаринова, когда он уже успел отползти шагов на десять от окопа. Веер сплошных фонтанчиков пыли на миг скрыл его от взглядов товарищей. Ташаубаев ахнул:

— Ай, пропал Паша!— и пустил короткую очередь по бронетранспортеру. Но Тугаринов уже свалился в лощинку, и фонтанчики проскакивали поверх него. Нет, не зря лейтенант Култаев мучил медлительного здоровяка-караульного перебежками и ползанием на тактических занятиях. Пригодился навык. Теперь он вел поединок с самой смертью, вел его расчетливо, хладнокровно. Моментами боец замирал, словно сливался с землей, покрытой в этом месте чахлой вытоптанной травой, но как только пулеметная очередь отбегала чуть в сторону, полз дальше. Давалось ему все это нелегко. Даже на расстоянии было видно, как потемнела, взмокла гимнастерка на плечах Тугаринова.

Немец-пулеметчик начинал нервничать. Понимая, что красноармеец вот-вот окажется в мертвом пространстве и его уже нельзя будет достать из пулемета, сыпал очередями все торопливее и беспорядочнее.

Но вот и мертвое пространство. Тугаринов только мгновение помедлил, чтобы перевести дыхание, и тут же поднялся, взмахнул тяжелой связкой гранат.

Андрей успел увидеть острый клин огня, вырвавшийся из-под колес бронетранспортера, и крикнул:

— Огонь, Ташаубаев!

Немцы поднялись в атаку.

Первым вскочил офицер в высокой фуражке. Было видно, как он кричал, оборачиваясь назад, приказывая солдатам бежать за ним, размахивал зажатым в руке пистолетом. Немцы вскакивали один за другим, бежали, приседая, вели огонь. Но по их цепи ударил пулемет Ташаубаева, стучали выстрелы остальных караульных.

— За Васю. За друга Васю Коржова,— сквозь стиснутые зубы шептал Андрей, стреляя короткими очередями.— А это за лейтенанта Култаева. За его гибели!

Еще одна атака отбита бойцами караульного взвода. Снова наступила передышка. Рита в одном из окопов перевязывала раненого красноармейца Абсалимова. Солн-

це поднялось, стало жарко. Дым от догоравшего немецкого бронетранспортера, щипал горло.

Андрею хотелось пить. Глотая горькую слюну, следил он за противником. В голове билась мысль — что еще предпримут немцы? Когда? А враг, убедившись в безуспешности лобовой атаки, решил изменить тактику. С опушки леса донесся слабый хлопок. И сразу за оградой, неподалеку от чадившего бронетранспортера, сверкнуло коротко пламя, и в грохоте возник косматый черный куст.

— Артобстрел, товарищ старший сержант! Из пушки ударили! — крикнул Ташаубаев.

— Миномет это, — поправил Зайцев. — Из миномета стреляют.

Миномет! В сознании Андрея сразу всплыло насмешливое: «самоварные трубы», как называли у них в части восьмидесятидвухмиллиметровые минометы. Андрей раз или два мельком осматривал миномет, не вызвавший у него особого восхищения. Труба, круглая рубчатая плита, которую минометчики в походе взваливали на загорбок... Как-то уж чересчур примитивно, ничего общего с пушкой.

Помнится, он недоверчиво посмеивался над словами приятеля-минометчика, когда тот говорил, что они стреляют точно в цель. Хотелось самому глянуть на стрельбу «самоварников». И вот увидел.

А от опушки леса донесся опять хлопок, и черный огненный куст поднялся у самых ворот. Было видно, как колючая проволока изгороди разорвалась и концы ее, извиваясь, свернулись в клубок. Клубы бурого дыма понесло на окопы.

— Из одного бьют. Пристрелка. Поберечься надо, осколки разлетаются, — сказал опять Зайцев, чуть склоняясь за бруствер.

— Минометный обстрел! Не высовываться из окопов! — крикнул Андрей, и голос его потонул в громе нового разрыва. На этот раз мина угодила в бурьян рядом с конторой склада. Подброшенные высоко вверх комья земли забарабанили по крыше.

В следующую минуту уже несколько мин разорвались с треском одна за другой перед окопами. В воздухе завывали, разлетаясь, осколки. От дыма и пыли стало сумрачно. В уши ударило туго и оглушающе сразу со всех сторон. А вдогонку еще не покинувшему землю грому уже неслись новые, бьющие по нервам взрывы. Вздуродержанный воздух наполнился шепелявым фырканием летящих мин.

Андрей оглядывался в тревоге: где Рита?

— Пряхин ранен! Старший сержант — к Пряхину!

Его зовут! Трубин хотел вскочить, но его рвануло, приподняло с места и тут же бросило на землю. Он оторвал лицо от земли и открыл глаза. Удушливо пахло жженой гребенкой. Ломило в ушах. По подбородку текло, щеكاتало шею.

Андрей провел по лицу ладонью. Кровь... С трудом пошевелил отяжелевшей головой, приподнялся на локте. За бруствером, метрах в четырех, желтела вывороченной глиной глубокая с рваными краями лунка. Дернины вокруг, казалось, были изодраны когтями. Валялись комья земли. В воздухе держался вонючий дымок, перемешанный с пылью, забивал дыхание.

Андрей кашлял, сплевывал попавший на зубы песок. Преодолевая тяжесть, давившую тело, придвинулся к окопу. Ташаубаев, обсыпанный землей, ладонью сердито вытирал пулемет. Зайцев лопаткой наспех подправлял бруствер. Целы!

— Я к Пряхину!

Ползком, постепенно преодолевая скованность в теле, Андрей пробрался к окопу Пряхина.

— Звал, Павел Васильевич? — почему-то на гражданский лад назвал он бойца, плохо слыша сквозь звон в ушах самого себя. Пряхин медленно повернул к нему голову, и бескровность его лица поразила Трубина. Усы казались приклеенными над побелевшими губами.

— Ты ранен, Павел Васильевич? — тронул за плечо бойца Трубин. — Слышишь меня?

Пряхин набрал в себя воздуха.

— Кузьмич, — он тоже назвал его так, как ни разу до этого не называл. — Командуй отбой, сержант. Надо уходить, пора. — И с усилием перевел дыхание. — Слушай, что скажу... Лейтенант как меня назвал? Комиссаром. Вот и скажу тебе как комиссар. Долг мы свой выполнили. Фашистов побили... Теперь отходить надо. Через территорию, в лес...

Разорвавшаяся мина заглушила его голос. Забарабанили, падая, ошметки глины.

— Видишь? — Пряхин повел взглядом. — Молотят. Бой этот не последний. Трудно первый выдержать. А мы его выдержали. Огнем себя испытали. Пригодится... Пора отходить. — Он закашлялся. Потом продолжал совсем отрывисто, с трудом. — Они сказали... Пороховая бочка...

Вот и надо доказать... Пусть на себе убедятся... Понял меня?

— Понял, Павел Васильевич.

— Вот и ладно.

Опять упала мина. Просвистели осколки. Бруствер брызнул колючей пылью. Андрей оглянулся на шиферные, белые под полуденным солнцем крыши хранилищ. Которое же из них выбрать?

— Кузьмич,— напомнил тихо Пряхин,— время в обрез... Командуй отход. К складам они огонь не перенесут... Целиком хотят взять... Надеются... Успеете...

Трубин молчал. Нет, он не мог приказать людям покинуть оборону. Это же значит сдать позиции врагу. Сдать!!! Он не мог пойти на это. Он знал, впитал в себя, как закон: Красная Армия не сдается. Красная Армия побеждает. Так его воспитывали в школе, этому учили в армии. Он покачал головой.

— Мы не уйдем! Нельзя нам отступить.

— Нет, отступишь! — Пряхин даже приподнялся. — Отступишь, чтобы людей сберечь. Чтобы потом наступать. Понял? — Он протянул белую, с налипшей на пальцы глиной руку и положил на руку Андрея. — На войне и отступают. Понял? Даже Красная Армия, когда нужно, отступает. Сейчас нужно. Командуй. Командуй!

Андрей проглотил застрявший в горле ком. Поднялся. И вяло, почти механически, крикнул:

— Аветисян, передать: отход! Всем отходить! Через внутренний двор! Военфельдшера сюда!

— Не надо,— приподнял протестующе руку Пряхин. — Не надо. Меня не трогайте. Уходите.

— Павел Васильевич...

— Нет,— твердо, почти жестко произнес он. — Ступайте... Прикрою отход... Сколько могу... Автомат дай.

Пряхин опять закашлялся, молча повел взглядом, и Андрей только теперь заметил на боку у него темное пятно, широко расплывавшееся сквозь гимнастерку.

— Сейчас военфельдшер перевязает... Быстро... — затопил Андрей. Но Пряхин замотал головой. Он подгрел к себе оставшиеся патроны, подтянул автомат, уложил его рядом с винтовкой и навалился на бруствер.

Разводящий караульных собак ночь скоротал на ногах. По привычке таежника Уляшев мог спать урывками, «вполглаза». На охоте, да еще зимой возле костра, в чашобе, полной опасностей,— какой уж сон! Привык.

Оттого, наверное, и обвыкся здесь сравнительно легко после всех своих мытарств по разным подразделениям. Работы здесь хватает. С виду должность спокойная, забот вроде мало, а на самом деле, — полно. Накормить, напоить собак и выставить на пост — половина дела. Главное в другом — приноровиться к ним. Животина животинкой, а характер у каждой свой. И обязанность разводящего — знать эти характеры. Собаки военные, и служба у них военная. Он же при них — командир. А у командира и ответственность и беспокойство. В общем, не до сна ему.

Занятый своими делами, Уляшев время от времени подходил к дверям собачника, где сидел пленный, которого ему поручили караулить, проверял засов, прислушивался. Хотя запертый в тесной, темной полуземлянке немец был чужим, недобрым человеком, и Уляшев, безусловно, осуждал его за жестокий поступок, но вражды, как к врагу, к нему не чувствовал.

Движимый чувством сострадания, он сначала бросил немцу охапку свежего сена, потом принес и подсунул под дверь кружку воды и кашу в миске, отделив ее от своей порции: человек ведь голоден, небось. Фашист схватил кружку, выпил воду. Пустую кружку отбросил подальше. Потом подтянул к себе миску и съел все остывшее варево Уляшева.

Напившись и наевшись, он заснул... Из забытья его вывели выстрелы, глухо доносившиеся сквозь стены собачника. Пока ефрейтор соображал спросонок, стрельба смолкла. Но зато, когда на следующий день снова услышал перестрелку, понял: пришли свои, конец плену. Он торжествовал: сейчас русские разбегутся, и он будет свободен. Но стрельба не прекращалась, и, когда о землю забухали взрывы,— холодок тревоги кольнул его. Русских выковыривают артиллерией, не иначе. А если снаряд угодит в землянку? Никто же не знает, что здесь он, стрелок-радист германских воздушных сил. Нет, скорее вон отсюда.

Тревога переросла в панический ужас. Ефрейтор вскочил, ударился головой о низкий потолок. Присел. Толкнулся в закрытую дверь. А взрывы ухали, сквозь доски сверху

сочилась сухая глина. Не дай бог — попадание: все рухнет... Готовая могила.

Часовой был на месте. Как быть? К черту принципы. Что-нибудь попросить, обратиться? Лишь бы вырваться. Сейчас все годилось. Сказать бы! Но этот русский язык: в памяти ни одного слова. Да и все равно не слышно в грохоте. Он схватил из-под ног кружку, начал бить в дверь. Часовой услышал, взялся за щеколду.

Ефрейтор сжался, собрал все силы. Едва дверь приоткрылась, он толкнул ее и пинком в живот опрокинул русского. Путь был свободен. Он кинулся из землянки, еще не сориентировавшись в направлении, лишь с одной мыслью — поскорее прочь. Но то ли от долгой неподвижности занемели ноги, то ли просто запнувшись, он упал, и когда попытался вскочить, почувствовал на себе живую тяжесть. Что-то рвануло его остервенело за спину, в правую лопатку гвоздями вошла боль. Опалила догадка — собака!

Несколько секунд ефрейтор лежал ошеломленный и только втягивал голову в плечи, стараясь уберечь горло. Потом, собрав силы, рывком перевернулся на живот, поднимая под себя пса, лихорадочно шаря одной рукой вокруг себя в надежде найти что-нибудь такое, чем можно ударить.

Уляшев, придя в себя, поднял голову: в пяти шагах от него валялась распластавшаяся на земле Пальма с раскроенным черепом, а над ней, на коленях, с топором в руках стоял немец.

«Оставил топор, оставил раззява», — успел упрекнуть себя разводящий. Его потряс вид убитой собаки. В первое мгновение он был захвачен чувством жалости. И только потом явилось опасение: «А ведь уйдет! Уйдет, однако. Проморгал, рассупонился, дурень».

Он повел рукой за винтовкой, которая завалилась за дверь, когда открывал ее. Вот она — упала вместе с ним. Подтянул к себе. Гнев помог ему позабыть все: близкое уханье мин, перехватывающую дыхание боль в животе и то, что он, старовер-кержак, впервые в своей жизни поднимает оружие на человека. Уляшев обо всем забыл, и — когда ефрейтор Курт Кениг, заметив, что часовой очнулся, вскочил с топором, — палец его с охотничьей непоколебимостью нащупал спусковой крючок.

А Пряхин истекал кровью. Он не видел своей раны, но знал, что ранен смертельно и что это конец.

Щемящее ощущение предсмертной тоски прошло, и он уже не думал о себе, подчинившись неотвратимости конца. В прошлом году, когда он вот так же лежал, поваленный в снег пулей шюцкоровца-кукушки в карельском лесу, была непоколебимая уверенность, что его подберут, вылечат. Теперь же надежды не было. Он твердо знал это. Еще немного, и все будет кончено, он останется лежать здесь, в окопчике, непохороненным, и это его огорчало, хотя он и понимал, что для мертвого безразлично, как и где лежать.

Всю свою не очень легкую тридцатилетнюю жизнь Пряхин прожил в степи, скупой на красоту, малоприветливой, почти суровой степи северного Казахстана, не знавшей тени в знойные дни. Кругом на десятки километров не было ни кустика — только камышовые гривы редких озер да стертые временем курганы древних могильников. И даже улицы центральной усадьбы МТС не радовали глаза зеленью. Ежегодно здесь высаживали деревья, но все они засыхали, потому что место было солонцовое. Вода в озере, из которого брали воду, и то отдавала солоноватым привкусом.

Пряхин все подумывал переехать куда-нибудь в другое место, где бы можно было хоть чаю нормального напиться. И лишь теперь понял, что это были просто намерения, не больше: никуда бы он не уехал, потому что степь, сто раз им руганная и помянутая недобрым словом, была дорога ему. Оказывается, он не только мирился, но и по-своему ее любил и думал о ней в эти свои последние минуты с болью.

Удивительна мысль человеческая. В мгновенья она способна обежать годы, воссоздать с поразительной ясностью картины минувшего. Вот и сейчас, за считанные минуты Пряхин успел обо всем передумать: перебрал в памяти огорчения и радости прошлого. Вспомнил трактор, выдавший виды колесник ХТЗ, который он помогал ремонтировать молодому трактористу перед самым отъездом в армию.

Его не предупредили о призыве. Просто с нарочным вызвали из бригады в контору МТС, и он оставил раскиданным задний мост, надеясь к концу дня вернуться и собрать. А в конторе лежали повестки из военкомата ем /

и еще двум механизаторам, имевшим, как и он, отсрочку. Им пришлось тут же собраться, потому что шла как раз попутная полуторка до райцентра. Так и уехал он второпях, на часок заскочив домой и едва успев проститься с домашними, уверенный, что вызывают его всего лишь на сборы.

Незабытая досада за эту чрезмерную поспешность вернулась к нему сейчас снова, и он упрекал себя за то, что не смог провести с семьей хотя бы еще один день. Он жалел, что только неделю назад отослал домой письмо, в котором писал, что к осени придет, и просил сообщить, чтобы в МТС имели это в виду и оставили за ним бригаду. Письмо наверняка дошло, и дома думают, что он жив-здоров, и будут его ждать, хотя и война, тем более что он, кажется, не проставил на письме дату отправки.

Первый раз за все время обманул он жену несбыточным обещанием. И хотя обманул не по своей вине, ему все равно было неловко перед ней. Тяжело и больно за то, что все так вышло. Жена напрасно будет его ждать, и если никто не сообщит ей о его гибели, то она вообще не узнает, что с ним, а это хуже всего.

Он думал о жене, представил, как она каждый день, возвращаясь с фермы, спрашивает, нет ли вестей от него и, огорченная, берется за дела по хозяйству, подавив тревогу и не расставаясь с надеждой на завтрашний день. Трудно ей сейчас и будет еще тяжелее. И вообще, как она будет жить одна, с ребятишками, разрываться на все стороны: и припасти топливо на зиму, и заготовить сено, и собрать осенью детей в школу.

Мысли о доме, о близких мучали бойца больше всего, но и они начинали ускользать, путаться. Наплывали отрывочные видения. Ему мерещились то гонимые ветром степные травы, то слышалось постукивание трактора на отдаленном загоне, то доносились голоса людей, знакомые и неузнаваемые. И становилось все труднее и труднее отогнать от себя бред, удерживаться на зыбкой грани действительности.

Пряхин вдруг почувствовал на спине забытый ожог от удара кнутом: то хозяин, хуторский богатей дед Куличенко, у которого он батрачил на пашне, учил его, двенадцатилетнего парнишку, уму-разуму, чтобы не зевал, не пускал быков в пшеницу.

Сиротское, безрадостное детство кончилось для него в ту памятную метельную зиму 1928 года, когда на хутор

к ним приехал с попутным обозом из города полузамерзший за долгую дорогу парень в красноармейской шинели и в буденовке — уполномоченный комсомола. Отогревшись и отоспавшись на полатах у приютившего его избача, уполномоченный принялся за организацию на хуторе ячейки РКСМ. Он не стал дожидаться, пока к нему придут будущие комсомольцы, а сам ходил по домам и искал их. Его, Пашку Пряхина, нашел он на куличенковской заимке в момент, когда тот задавал корм хозяйскому скоту, и, оставшись ночевать, за долгую ночь разговорами о новой жизни как бы раздвинул стены беспросветной бедняцкой доли, давившей батрачонка.

Хлопотами уполномоченного комсомольца Пряхина послали тогда на курсы трактористов в только что созданный неподалеку зерносовхоз, а когда на следующую весну в хуторе организовался колхоз и появился добытый в рассрочку благодаря стараниям того же уполномоченного, приехавшего теперь уже по вопросу коллективизации, первый трактор «Фордзон» — Пряхин сел за руль. Первую борозду, проведенную им на тракторе, вышли смотреть всем хутором. До самого конца полосы не отставала толпа: люди недоверчиво приподымали пласты, замеряли глубину вспашки и даже нюхали землю. Был пущен слух, что после пахоты трактором земля будет пахнуть керосином.

А он, радостный, вел машину, и ему казалось, что он не целину вспарывает лемехом, а старый деревенский мир с его бедностью и недавним кулацким засилием опрокидывает и приваливает пластами на веки вечные.

Память воскресила лицо уполномоченного. На короткий миг с поразительной отчетливостью вспомнилась их последняя встреча. Он уже не так был молод, тот паренек из города, взбудораживший когда-то застойную тишь степного хутора. Беспокойная должность партийного секретаря наштриховала морщинок вокруг глаз, заметно подсеребрила виски. Но осталась та же улыбка, тот же веселый прищуренный взгляд и крепкая дружеская рука.

— На, тракторист, держи, — сказал он, подавая твердую, казавшуюся маленькой в его широкой ладони книжечку с ленинским профилем на корочке. — Это тебе компас на всю жизнь. Ты хоть и правильно идешь, но сверяй все равно время от времени свой курс. Держи борозду, чтобы была она у тебя прямая до самого последнего поворота.

Так сказал он тогда, секретарь райкома... А держал ли

свою борозду прямо он, Пряхин? Старался держать. А поворот — вот он, последний поворот на его пашне... И теперь главное сделать все как надо, без огреха...

А немцы все еще не теряли надежды захватить склад в целости и поэтому не переносили огонь в глубь территории. Разрывы мин внезапно смолкли. Пряхин в своем забытии не слышал этого, но он увидел, как фашисты поднялись с земли, и понял — атака. Теперь-то они пройдут, теперь огонь уже не прижмет их к земле. Он один здесь, в окопе. И все-таки кому-то он не даст добежать, пусть двум-трем, пусть одному... Должен не дать.

Пряхин невероятным усилием поворачивает туловище, оглядывается назад: успели ли уйти свои? И вдруг видит Уляшева. Разводящий караульных собак лежит в соседнем окопе и неторопливо, с сосредоточенным видом набирает обойму патронами, словно где-нибудь на учебных стрельбах. Внезапное появление его не столько удивило, сколько рассердило Пряхина.

— Ты почему тут? Ступай назад... Отползай! — прохрипел Пряхин. Собаковод, видно, услышал: мотнул головой, крикнул:

— Теперя поздно, паря, не побежишь, однако, подстрелят. — Он припал к прикладу, прицелился и выстрелил в вырвавшегося вперед коротенького, широкоплечего немца.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Трубину казалось, что он услышал последние сдвоенные выстрелы своих караульных, оставшихся в окопах лицом к лицу с немцами. Сила, которая все время, пока он отходил, отстреливаясь, через территорию склада, держала и тянула его назад, как бы вдруг иссякла, и Андрей упал возле кирпичной теневой стены хранилища.

На короткий миг его охватила слабость. Андрей провел шершавым, выпачканным землей рукавом гимнастерки по мокрому от пота лицу, приподнялся.

Рядом, тяжело дыша, лежал Зайцев. Коротко остриженная голова шофера, без пилотки, белела повязкой. Рассеченное ухо заплыло сгустившейся кровью. В одной руке Зайцев держал карабин, в другой — сумку с гранатами.

— Эта? — шофер, раздувая ноздри, повел взглядом на массивную дверь хранилища.

— Она, — подтвердил кивком Андрей. — Идем.

Он вскочил первым. Вот оно, святая святых: объект, куда еще два дня назад не было хода ни одному постороннему человеку. Дверь хранилища — замок, печать пломбы... Неприкосновенность! Кажется, все это тотчас отзовется тревогой, стоит лишь прикоснуться. Но была только прочность запоров, ненужная сейчас.

Андрей в нетерпении рванул фанерку с круглым напылом мастики. Ключи на стене, в конторке. Но зачем теперь ключи?.. Он ударил рукояткой пистолета по замку. Это было кощунством, нарушением всех и всяческих правил: бить около склада по металлу. Сюда и входить-то разрешалось не иначе как в валяной обуви; гвозди на сапогах могли высечь искры. А он ожесточенно колотил и колотил пистолетом, и удары глухо отдавались в недрах хранилища.

Видя, что с массивным замком ничего не поделать, Андрей со злости выстрелил в отверстие для ключа. Замок закачался и раскрылся. Андрей рванул тяжелую половинку дверей. В лицо пахнуло прохладой, запахом оружейной смазки. Что-то сверкнуло в полумраке, тускло и угрожающе. Андрей остановился на наклонном трапе. Зайцев, войдя следом, чуть отстранил его с дороги.

— Пусти-ка, товарищ старший сержант,— сказал он глуховатым от напряжения голосом.

— Ты что хочешь?

— Один пойду. Вдвоем незачем. Да не сомневайтесь, справлюсь. Не зря два года трубил в боепитании, знаю, что к чему. Только торопиться надо,— шофер оглянулся на приглушенную стукотню выстрелов, перехватил сумку с гранатами и решительно шагнул вниз. Андрей прислонился на минуту плечами к холодной стене. Зайцев уже был в конце трапа.

— Иди, сержант,— сказал он, не оглянувшись. — Я быстро... Догоню.

Андрей, чтобы не заслонять света, отступил от порога. Прислушался. Теперь пальба совсем близко. Это Ташаубаев, а с ним и остальные бойцы сдерживали немцев огнем. Они били с высоты, от второго поста. «Молодец, Касым! Только чтобы теперь сумел отойти вовремя и подальше, не опоздал бы!»

По выступавшему над дверью карнизу чиркнула пуля. Порхнуло облачко красноватой кирпичной пыли. Андрей оглянулся. Пулемет Ташаубаева продолжал бить очередями. Вот он умолк и снова застучал. Касым сменял пози-

цию. Значит, все собрались к северной стороне территории, к проходу в ограде. Как он велел. Для них с Зайцевым оставлен второй проход, ближе.

Теперь время отсчитывалось секундами. Трубин отполз к проволочной ограде, лег, повернувшись лицом к хранилищу, дожидаясь шофера. Здесь, в чахлой траве, обычно пахло смолой и креозотом, которым были пропитаны столбы. Сейчас он не чувствовал запахов. Все его внимание было сосредоточено на двери хранилища. Он с нетерпением ждал, когда в них появится Зайцев. Но тот не показывался. Секунды текли. А шофера не было. Что там? Неужели у него ничего не получается?!

Звякнула, задребезжала задетая кем-то проволока. Трубин оглянулся. Рита! Но почему она возвратилась, зачем?

— Назад! — крикнул Андрей. — Сейчас же назад!

Но девушка или не услышала его или не послушалась: проскользнула за ограду, подползла, с трудом переводя дыхание, волоча за собой санитарную сумку.

— Андрей...

— Ты зачем вернулась? Я приказал уходить, всем! Всем! Марш назад! — прокричал, перебивая ее Трубин, заметив мелькнувшую вдали зелено-серую фигуру немца.

— Андрюша, ты ранен? У тебя на лице кровь. Я перевяжу.

Рита придвинулась, расстегивая сумку, которую волочила за собой.

Андрей перехватил руку девушки, потянувшуюся к его щеке с куском бинта.

— Рита, прошу тебя... Беги немедленно! Пробирайся к лесу...

— А ты?

— Я дождусь шофера. Он скоро будет... Мы двинемся следом за тобой. Не теряй время!

— Я испугалась за тебя, Андрюша. Думала, с тобой что случилось. Тебя нет и нет...

— Беги! — повторил Андрей. — Слышишь?

— Вместе. Только вместе! — Рита схватила его за плечо. — Ты сам можешь не успеть.

— Там шофер. Я же сказал — догоню. Иди!

— Мы вместе уйдем. Я тебя не оставлю. Не могу оставить.

— Ступай, кому говорят! — Андрей сердито толкнул

девушку. И в это время из-за угла хранилища показался немец. Он, видимо, был ошеломлен, оказавшись перед пустым открытым пространством один, и поэтому на какой-то миг остановился, разгоряченный бегом, не зная, что делать дальше.

Миг был коротким. Но фигура немца, возникшая на фоне кирпичной темно-красной стены хранилища, четко отпечаталась в сознании Трубина. Это был крепкий приземистый парень, с загорелым широколобым лицом, в коротком френче нараспашку, под которым белела нижняя рубашка. Он стоял, как стоят моряки на палубе в качку, циркулем расставив крепкие ноги в сапогах, в мешковатых брюках с напуском, оставив перед собой висевший на ремне автомат.

Все, вплоть до черных пятен на коленях немца, успел охватить коротким взглядом Андрей.

Немец заметил их тоже. От неожиданности он подался назад, тупой ствол автомата в его руках дрогнул. Из-за угла выбежали еще три солдата, еще и еще. Теперь они уже не рассредоточивались, сбились в кучу. Андрей и первый немец нажали на спуск одновременно, выстрелы слились в один звук. В этот же миг позади немцев вдруг возник огненно-дымный смерч. Земля дрогнула, взметнулась вверх.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вода в омуте черная, как деготь, и вся в водорослях. Скользкие, упругие, они щупальцами обвивают тело, хватают за руку, тянут на дно. А воздуха мало, в голове звон.

По губам скользит холодок, тает во рту. Льдинки! Крохотные прозрачные льдинки, похожие на иглы! Значит, уже осень. Но почему она осенью купается?

Последним усилием Рита поднимает веки, жадно хватая воздух. Никаких льдинок. И никакого омута. Над ней зелено-голубая крыша, недосягаемо высокая.

«Так это же сосны,— приходит догадка,— а сверху небо. Я лежу на спине и смотрю вверх, только и всего».

Девушка с трудом поворачивает голову и сквозь всплывшие перед глазами круги видит склонившееся знакомое скуластое лицо. Ташаубаев! Конечно же, он! Но что у него в руках: узелок, не узелок, мокрый.

— Каоым,— вспомнив имя бойца, еле слышно произносит Рита,— ты?

— Я, товарищ военфельдшер. Я,— кивает казах, и губы его обрадованно расплываются в знакомой улыбке.

— Касым, живой?

— Живой. Все в порядке.

— Что это ты держишь?

— А, это? — Ташаубаев смущается. — Пилотка, товарищ военфельдшер. — Вода черпал, вместо кружки. Пришлось,— он отводит руку в сторону, выплескивает на землю остаток воды, встряхивает темную, потерявшую форму пилотку. Смущение на его лице сменяется выражением сочувствия и хмурой озабоченности.

— Тебе плохо было, товарищ военфельдшер. Совсем плохо. Лежал все время, как неживой. Я боялся,— Ташаубаев вздохнул, покачал головой и тут же улыбнулся. — Ну, теперь ничего, мал-мал лучше. Правда? Вода помогал. Хорошая вода. Из ключа брал. Прямо кумыс.

Слова бойца окончательно возвращают Риту к действительности. Она чувствует на лбу повязку, тугую и горячую, и, пошевелив рукой, вытянутой вдоль тела, натыкается на шероховатую, липкую от проступившей смолы сосновую жердь. Такая же жердь возле нее и с другой стороны. Что-то пружинистое, жесткое упирается в спину и под колени, давит бока. «Носилки»,— догадывается Рита и, подталкиваемая смутной тревогой, делает усилия, пытаясь приподняться. Рука Ташаубаева удерживает ее.

— Лежать надо, товарищ военфельдшер, лежать. Вставать будешь, плохо будет.

— Касым, где мы?

— В лесу. Привал делали, мал-мал отдыхать.

— Куда идем? Зачем?

— Надо. К своим идем.

— А кто с нами? Где они? Не вижу.

— Все здесь.

— Кто «все»? Ты говори.

— Да, конечно, говорю. Кучкильдин, Адамович, Тугаринов, Ольховский. Потом всех называю, другой раз. Отдыхай, товарищ военфельдшер. Тебе покой надо, спать надо. Вредно разговор...

— Касым,— в нетерпении прерывает бойца Рита. — Ты не все сказал. Не про всех.

Перед глазами у нее всплывает фигура немца, барабанные перепонки раздрает чудовищный грохот. Минуту она молчит. Потом спрашивает:

— Что со старшим сержантом? Ты не сказал, Касым. —

Рита обвела вокруг себя взглядом. Носилки стояли под сосной, разметавшей широко по сторонам ветви, унизанные дождевыми каплями. К стволу был прислонен ручной пулемет, зеленела коробка с дисками, потемневшие от дождя сумки противогазов топорщились натолканными в них гранатами. А за сосной, на полянке, большой, круглой, стояли в строю бойцы караульного взвода, словно собравшиеся в наряд. Вот они все, ставшие для нее, Риты, за эти дни родными: всех она теперь знала по имени и в лицо. Сухощавый, неразговорчивый ефрейтор Кучкильдин; Адамович, в своей изрядно потрепанной, но втянутой под ремень танкистской гимнастерке, с немецким автоматом на плече поверх винтовки; угрюмоватый, по-медвежий большой Тугаринов; Аветисян в потемнелой повязке-чалме под пилоткой; веснушчатый, похожий на девушку Василь Тимошенко; высокий, на голову выше товарищей, красноармеец Бугаев с перевязанной рукой; Касым Ташаубаев...

И Андрей Трубин... Он стоял спиной к ней, Рита не видела его лица, видела только затылок и плечи, обтянутые темной, непросохшей после дождя полинялой гимнастеркой. Он был не тот, что раньше, милый ее Андрей: не тот по плечам, будто потяжелевшим, испробовавшим на себе не юношескую ношу, по жестам, скупым, сдержанным, и по голосу, который звучал тоже по-новому — чуть глуше и тверже.

— Ну, все! Проверить оружие! Дозор — вперед! Ржаницын, Ольховский — к носилкам!

«Про меня. Меня нести», — догадалась Рита. «Нет, — подумала она протестующе, сквозь звон в висках, — только не носилки».

— Нет! — повторила она уже вслух. — Нет! Я сама...

Рывком она скинула ноги с носилок, села. В глазах потемнело, боль перехватила дыхание. Рита почувствовала, что сейчас опрокинется навзничь, потеряет сознание и, чтобы опередить этот момент, протянула руку, наткнулась на дерево, обхватила его, навалилась на ствол всей тяжестью тела.

Худо ей было. Земля качалась, устремленная в небо крона сосны плыла и опрокидывалась, слабость ломала пальцы, готовые разжаться. Но Рита уже превозмогла себя и знала, что не упадет.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	3
Глава вторая	10
Глава третья	19
Глава четвертая	30
Глава пятая	39
Глава шестая	48
Глава седьмая	60
Глава восьмая	69
Глава девятая	74
Глава десятая	80
Глава одиннадцатая	86
Глава двенадцатая	91
Глава тринадцатая	99
Глава четырнадцатая	106
Глава пятнадцатая	110
Глава шестнадцатая	114
Глава семнадцатая	116
Глава восемнадцатая	122
Глава девятнадцатая	124
Глава двадцатая	127
Глава двадцать первая	134
Глава двадцать вторая	144
Глава двадцать третья	152
Глава двадцать четвертая	161
Глава двадцать пятая	165
Глава двадцать шестая	170
Глава двадцать седьмая	175
Глава двадцать восьмая	177
Глава двадцать девятая	187
Глава тридцатая	189
Глава тридцать первая	192
Глава тридцать вторая	195